

Еремей Парнов Атлас Гурагона

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это уже было в веках, бывших прежде нас».

Екклесиаст 1:9, 10

Предисловие

Могущественная секта накшбенди, пир которой Ходжа Ахрар обрек на смерть великого астронома Улугбека, сформировалась в ХГУ веке. Ее основатель Баха ад-дин Накшбанд (1318—1389) родился в семье таджикского ремесленника под Бухарой в кишлаке Каср-и Хиндуван, там же и умер. Мистический путь он проходил под руководством местных и тюркских шейхов и после смерти был признан святым.

Но не надо думать, что основанное им братство принадлежит далекому прошлому. Накшбендии всегда отличались ярко выраженной политической активностью. Они сыграли ведущую роль в утверждении ислама в Средней Азии и Восточном Туркестане, а в XVI веке утвердились в Индии, где глубоко проникли в духовную, социальную и, разумеется, политическую жизнь мусульманского общества.

Орден существует по сей день и, наряду с братством кадирия, оказавшим определяющее влияние на мировоззрения Усамы бен Ладена, считается наиболее могущественной духовной организацией.

Воистину «нет ничего нового под солнцем».

И только незнание прошлого, невежество и нелюбопытство стали причиной обескураживающей реакции как западной так и российской прессы на кошмарные события в Нью-Йорке и Вашингтоне.

«Война третьего тысячелетия», как с поразительным единодушием откликнулись на действительно беспрецедентную акцию террора ведущие аналитики, началась отнюдь не теперь, а почти тысячу лет назад.

В геометрии он был подобен Эвклиду, а в астрономии — Птолемею.

Давлетшах

От автора

Иероглифы на базальтовой стене Абу-Симбела говорят: «Когда человек узнает, что движет звездами, Сфинкс засмеется, и жизнь на земле иссякнет». Мы не знаем еще, что движет звездами. Может быть, никогда не узнаем. Может быть, узнаем завтра. Важен не столько смысл изречения, сколько удивительная научная поэзия. Или, может быть, удивительно опозитизированная наука?

В 1869 году в Париже вышла в свет любопытная книга «Средства связи с планетами», автором которой был изобретатель Шарль Кро. Насколько мне известно, это был первый научный труд по весьма современной проблеме контакта с внеземными цивилизациями.

Наблюдаемые иногда на Венере и на Марсе светящиеся точки Кро принял за попытку жителей этих соседних с Землей миров установить с нами связь и предложил послать ответные сигналы с помощью огромного зеркала. Причем зеркало это мыслилось изготовить с такой ничтожной кривизной, чтобы фокус его приходился как раз на поверхность одной из планет.

Что же, идеи Кро, как и все почти научные идеи, были плодами своего времени, своего века. В равной мере смелыми и ограниченными, крылатыми и приземленными. Ведь и великий Гаусс предложил начертать на земле достаточно большую геометрическую фигуру, из которой любой разумный инопланетянин смог бы понять, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Один венский профессор тут же посоветовал вырыть где-нибудь в Сахаре огромную треугольную траншею, наполнить ее керосином и поджечь. В научных журналах всерьез обсуждались проблемы вроде «смогут ли венериане увидеть свет наших ночных городов» или «сколько пороха нужно одновременно взорвать, чтобы вспышку могли заметить с Марса».

Мы знаем теперь, что обычный земной телескоп, установленный, скажем, на Луне, может уловить солнечные блики на застекленной стене здания ООН. Венериане поэтому могли любоваться огнями Токио, а марсиане — атомными взрывами. Конечно, в принципе, потому что некому любоваться, некому наблюдать за нами.

Высеянные в питательных средах образцы лунных пород продемонстрировали полное отсутствие всякой жизни. Прямые измерения температуры, давления и газового состава атмосферы планеты Венера не позволяют даже надеяться на существование там белковых тел. Снимки марсианской поверхности рисуют безрадостную картину холодной, покрытой кратерами пустыни. По-видимому, шансы найти разумную жизнь в пределах солнечной системы близки к нулю. Но остаются звезды. Бесчисленные солнца чужих неведомых миров.

Свыше пяти веков минуло с той поры, как великий астроном и государь Самарканда Улугбек Гурагон «исчислил положение всех видимых звезд». Видимых! Значит, гениальный ученый подозревал, что в бескрайней Вселенной есть миры, которые нельзя разглядеть на ночном небосклоне простым невооруженным глазом!

Седой стариной веют древние предания о городе Мерканда, но еще более древней является действительная история Самарканда. Этот город, который не раз был столицей забытых ныне государств, центром исчезнувших цивилизаций, разрушали и грабили орды кочевников, заносили горючие пески пустыни. Но он подымался из руин и пепла, вопреки судьбе, наперекор всеразрушающему течению времен.

Недавно этот современный город с великолепным аэропортом, комфортабельными отелями, заводами, институтами отпраздновал свое 2500-летие. После Еревана Самарканд — самый древний город Советского Союза.

Этому с трудом веришь, когда идешь по широким асфальтированным улицам, застроенным многоэтажными зданиями, или проносишься в автобусе мимо строек, складов хлопка-сырца, серебристых резервуаров нефтехранилищ.

Но стоит пройти на северо-восточную окраину, где на изжелта-серой, иссеченной ветрами возвышенности еще видны осыпавшиеся гребни крепостной стены, и вы ощутите дыхание тысячелетий. Это Афрасиаб — место древних могил и причудливых траншей, прорытых неутомимыми археологами. Здесь, среди заросших колючкой домусульманских кладбищ, стоит Шахи-Зинд — гордость Самарканда, маленький безмолвный город мавзолеев, самому древнему из которых почти тысяча лет...

Но расцвет Самарканда приходится на эпоху «завоевателя мира» Тимура. Железный хромец сгонял в столицу своей обширной империи толпы лучших мастеров, которые украсили город величественными дворцами, мечетями, тенистыми садами. Беспощадный завоеватель и разрушитель чужих городов сделал свой Самарканд подлинной жемчужиной Азии.

С тех пор все царствующие правители старались затмить друг друга высотой возводимых сооружений, богатством и красотой их глазурованных орнаментов. Эти

прекрасные ханаки, мечети и медресе разбросаны по всему городу. Вот в пыльной зелени тополей глазу откроются развалины грандиозной мечети, которую построила любимая жена Тимура, китайская принцесса Биби-Ханым; вот и синий ребристый купол знаменитого «Гур-Эмира» — исполинского мавзолея, где в нефритовом гробу покоится сам Тимур и в сумрачных подземельях стоят каменные саркофаги его потомков — неукротимых тимуридов.

В 1941 году специальная государственная комиссия, в которую входили виднейшие историки и археологи, произвела вскрытие этих древних захоронений. В одном саркофаге были обнаружены останки того, кто, согласно преданию, был убит по приказу родного сына фанатичным изувером.

На скелете отчетливо сохранились следы насильственной смерти. Третий шейный позвонок был рассечен острым оружием. Череп оказался смещенным и повернутым основанием вверх. Фаланги пальцев рук и частью запястья сдвинуты и перепутаны, равно как и все кости ступней.

В отличие от остальных погребений мавзолея, скелет лежал в саркофаге совершенно одетым, хотя ткани одежд и утратили первоначальный цвет, местами совершенно истлели и сильно посекались. Согласно мусульманскому обычаю, покойника опускают в гроб в одном лишь саване. Только шахидов — мучеников — закон шариата предписывает обязательно хоронить в той же одежде, которую они носили при жизни.

Поэтому все говорило о том, что обнаружен саркофаг царственного мученика. На каменной плите, под которой, собственно, и находилась ниша с этим саркофагом из серого мрамора, лежали окаменевшие от времен витые рога горного козла — чье-то бедное приношение. Еще была на ней надпись на языке фарси. Дата говорила, что захоронение имело место пятьсот лет назад.

Сейчас, по истечении пяти веков с того черного дня, когда был убит великий астроном и толпа фанатиков варварски разрушила его знаменитую обсерваторию, мы можем лишь догадываться о ее облике.

Каменистая возвышенность, раскаленная пыль и сухая колючка на горькой, растрескавшейся земле. Но сдвинем любой камень и, выждав, покуда спрячется в черной трещине потревоженный скорпион, возьмем горсть земли.

Твердые комки ее легко превратятся в шелковистую пыль и, как вода, стекут с ладоней. Эта земля не пачкает рук. Комок за комком и горсть за горстью, пока не блеснет в руках синяя звездочка — капелька древней глазури. Точное местонахождение разрушенной обсерватории долго оставалось неизвестным. Даже название холма, на котором она стояла, было ненавистно воинствующим мусульманским церковникам. И холм Кухек был спешно переименован в «гору Сорока дев».

Но народ не сохранил памяти о «Сорока девах». Холм Кухек навсегда остался для него холмом обсерватории. Более того, подробные записи обо всем, что касалось этого непревзойденного шедевра древней астрономии, оставили нам знаменитейшие историки тех времен.

«Через четыре года после основания медресе, — писал в своей „Самарии“ историк Абу-Тахир Ходжа, — мирза Улугбек, по совещании с Казы-заде Руми, мауляной ¹ Гияс-ад-дин-Джемшидом и мауляной Маин-ад-дин-Каши, воздвиг у подошвы Кухека, на берегу арыка Абирахмат, здание обсерватории, вокруг которой построил высокие худжры, а у подошвы холма обсерватории разбил прекрасный сад, и где проводил большую часть своего времени».

Бабур говорит о том же, а Мирхону уточняет, как «искусные мастера приступили к постройке обсерватории» и как «в этом участвовали опора астрономической науки, второй Птолемей, лучшее воплощение греческих ученых мауляна Гияс-ад-дин-Джемшид и господин

¹ Высшее ученое звание

вместилище наук мауляна Низам-ад-дин-ал-Каши». Младший же современник Улугбека — Абу-ар-Раззак Самарканди — подробно и обстоятельно рассказывает в книге «Восход двух счастливых созвездий» о том, как собрал Улугбек «весьма опытных знатоков своего дела: математиков, геометров, астрономов, строителей», и что «в этом участвовали виднейшие ученые того времени: мауляна Али-Кушчи — Птолемей своей эпохи... величайший знаток Гияс-ад-дин-ал-Чусти и великий знаток Маин-ад-дин...».

Никаких противоречий нет в этих письменных свидетельствах. Различные историки только дополняли друг друга. Более того, все тот же арык — он и теперь называется Абирахмат — огибают заброшенный холм. Его быстрые струи, дожди и ветры обнажали время от времени яркие брызги глазури и куски обожженной глины. Но разве не погребла эта серая пыль блистательные фрески Хорезма и Согдианы, языческих идолов тюркского каганата и лукомских будд с бессмертной и равнодушной улыбкой? Все смешала эта горячая и сухая земля. Как узнать тут, осколок какой культуры оживал вдруг ослепительной солнечной точкой?

Медленно и сонно текли века над каменистым холмом. Люди молитвой встречали и провожали солнце, а скорпионы и ящерицы тихо шуршали среди колючек, карабкаясь на те непонятные серые груды, какими возвращаются в лоно природы-праматери творения рук человеческих.

Лишь в 1908 году самаркандский археолог В. Л. Вяткин обнаружил под этими грудями руины знаменитой обсерватории. На это открытие его натолкнул случайно найденный вакуфный документ семнадцатого века. В «Отчете о раскопках обсерватории мирзы Улугбека в 1908 и 1909 гг.» Вяткин писал:

«В числе описанных границ земельного участка и холм обсерватории („тал-и-рассад“), и известные в настоящее время под теми же названиями арык Аб-и Рахмат, и местность Накши-джаган. Документ этот давал настолько точные и вполне определенные указания на место расположения обсерватории, что отыскать в натуре холм, упоминаемый в документе, трудности не представляло».

Есть что-то непостижимое в тех роковых нитях, которые связывают порой через пространство и время людей. Они устремляются вдруг от живых нетерпеливых сердец к тем, чьи останки давным-давно занесены песками забвения. С того дня, как безвестный до того провинциальный археолог наткнулся на старинные документы, жизнь его уподобилась ежедневному подвигу. Установилась таинственная связь. Звезда I Улугбека снова взошла над пыльными, посеребренными луной развалинами. Раскопки стали для Вяткина делом всей жизни. Все остальное отошло куда-то, потонуло и угасло...

Теперь он лежит в той самой земле, на вершине холма, рядом с выстроенным недавно музеем Улугбека, возле чудного мраморного секстанта, который отнял у небытия...

Во время недавних раскопок на холме Кухек нашли множество разноцветных глазурованных кирпичиков, фрагменты дивных мозаик, подобных тем, которые украшают великолепное медресе на площади Регистан. Это говорит о том, что обсерватория была столь же искусно украшена, как и дошедшие до нас прекрасные памятники Самарканда и Бухары. Исторические же источники, дополняя данные археологии, свидетельствуют, что мозаики и фрески звездной башни изображали небесную сферу, планеты и звезды, фигуры зодиака, ландшафты Земли.

О грандиозности звездной башни, построенной на вершине высокого холма, можно судить теперь лишь по размерам уцелевшей части главного инструмента и, конечно, по грудам кирпичей, которые обнажились в результате раскопок. Но те же груды напоминают о той слепой силе, которая сокрушила это беспримерное сооружение, о силе, которой достигают порой невежество и нетерпимость...

В документах XVII—XVIII веков высота главного инструмента приравнивается к высоте знаменитого храма Айя-София в Стамбуле. Часть дуги этого каменного секстанта покоилась в широкой траншее, прорытой сквозь холм в направлении меридиана с юга на север. Именно она-то и уцелела. Мы можем видеть теперь две параллельные дуги, уходящие

в сумрак подземелья, и расплавленную каплю солнца, стекающую откуда-то сверху, из маленького круглого отверстия в каменном своде. Эта ослепительная капля медленно скользит вдоль дуг, все ниже и ниже, отмечая ход неумолимого времени. Дуги сложены из обожженного кирпича, оштукатурены алебастром и облицованы мрамором. На них нанесены медные риски с интервалом в 70, 2 см, что соответствует делению в один градус.

Теперь мы можем довольно точно представить себе размеры уникального инструмента. При интервале 70, 2 см, соответствующем одному градусу, радиус дуг должен достигать 40, 4 м, а длина их 63 м! Кроме этого исполинского прибора, в обсерватории несомненно хранились и другие инструменты. Но на раскопках были найдены только куски мраморных досок с числами и делениями. Желобки на них позволяют предположить, что на крыше обсерватории был установлен еще и горизонтальный круг.

Все остальное уничтожено: разбито, предано огню или расхищено. Для нас очень важен вывод, к которому пришли в своем отчете археологи. «Обсерватория была сравнена с землей путем последовательного искусственного разрушения. Причем цельный кирпич, крупные обломки, плиты мрамора и крупные куски изразцовых украшений отвозились для других сооружений, а разный мусор сваливался тут же в глубокую траншею квадранта...»

Как знать, в каких постройках сияют бирюзовые изразцы звездной башни великого Улугбека, который за два века до Галилея невооруженным глазом установил координаты всех известных в то время звезд, с удивительной точностью определил наклон экватора к плоскости эклиптики и продолжительность солнечного года. Его звездный атлас «Зидж Гурагочи» не знал себе равных. «Все, что наблюдение и опыт узнали о движении планет, сдано на хранение в этой книге», — писал сам Улугбек.

Он был внуком Тимура — беспощадного завоевателя, истребившего сотни тысяч людей. Он был сыном Шахруха — богобоязненного повелителя Мавераннахра — междуречья Сырдарьи и Амударьи со столицей в Самарканде. В пятнадцать лет он сам стал правителем великого города. Но в историю он вошел как гениальный астроном. Мухаммед-Тарагай — это имя он получил при рождении. Улугбеком — это означает Великий князь — называли его люди. «Религии рассеиваются как туман»², — сказал Улугбек, который навсегда останется в благодарной памяти людей.

Я слежу за тем, как медленно перемещается вдоль мраморных дуг солнечное пятно. Древний инструмент живет и действует по сей день. Даже искаленный, по-прежнему ловит он звездный свет. И мне начинает казаться, что я слышу чей-то шепот. Может быть, это вздыхает накаленная земля, вобравшая в себя осколки тысячелетий, может быть, еле слышно откликается небо, где летит через межзвездные бездны давным-давно отблеставший свет.

Пока медресе и мечети во прах не падут, Дела мудрецов-калантаров на лад не пойдут, Покамест неверием вера, а верой неверье не станут, Поверь мне, средь Божьих рабов мусульман не найдут.

Омар Хайям

Глава первая

В полдень, когда правоверным надлежит совершить вторую молитву Салат аззухр, у Восточных ворот Герата остановился караван. Смолкли верблюжьи колокольцы. Подогнув колени, опустили животные в серую шелковистую пыль. И хотя были раскрыты окованные медью ворота, караван не мог войти в город. Стражи на высокой глинобитной стене уже расстелили молитвенные коврики — саджады, повернулись лицом к Мекке. И потому

² Сокращенный вариант повести о жизни Улугбека был назван «Звезда в тумане»

заспешили, засуетились прибывшие из далеких краев купцы. Караван-баши распорядился отвести ишаков и верблюдов к зарослям ферул и саксаула, осыпающегося ломкими и прозрачными, как стрекозиные крылья, семенами. Оттуда мерзкий рев не омрачит тишины святого часа. И вот уже все — стражи, купцы и караванщики — со словами «Аллах акбар» коснулись лбами своих молитвенных ковриков.

Но только смолкли последние славословия, как над склоненными чалмами и округлившимися на согнутых спинах цветными халатами поднялся человек в остроконечном колпаке. Взял он свой посох с бронзовым копейным наконечником, кокосовую чашку для подааний, скатал саджад и заспешил к серым холмам, где в пятнистой тени лениво и сонно жевали колючку верблюды. Шел он прямо по чужим коврам, оставляя на нежном их ворсе пыльные следы босых ступней. И люди почтительно сторонились, не спешили стереть серые отпечатки ороговевших от многолетней ходьбы босиком пальцев. Ибо священные следы дервиша и трижды священные, если дервиш этот, этот странствующий калантар принадлежит к грозному ордену накшбенди.

Калантар отвязал своего ишачка, чьи бока были вытерты и покрыты болячками, а шерсть свалаялась вокруг застрявших в ней колючек, поправил переметную суму и зашагал к воротам. Он вошел в город, когда караван-баши только подымал разлегшихся в саксаульной тени верблюдов, а караванщики отвязывали узы пустыни — веревки, соединяющие ноздрю одного верблюда с седлом другого. Лишь в необъятных песках Кызыл или Кара могут идти связанными сотни, а то и тысячи навьюченных животных. В узких и кривых улочках городов каравану не развернуться. Да и стражам труднее осматривать переметные сумы, чтобы взыскать с каждого купца въездную пошлину сообразно ценности его товара.

Но калантар миновал высокую арку с поднятым решетчатым заслоном, ничего не заплатив. Молча показал он начальнику стражи пластину с тамгой, перед которой склоняются иные государи, и, оседлав ишачка, затрусил вдоль глухих глиняных стен, побеленных и подкрашенных синькой, мимо резных чинаровых дверей. Ехал он в гору, все выше да выше, по переулочкам таким узким, что стены хранили глубокие царапины всех проезжавших когда-либо арб.

Начиналось самое жаркое время дня, когда имеющие досуг и деньги спешат укрыться в знаменитых гератских садах, чтобы в тени китайских ив и персиковых деревьев вдохнуть влажную пыль фонтанов и не спеша отведать дынь, истекающих липким зеленоватым соком.

Над плоскими крышами поднималось синеватое марево. Душный запах шипящего на углях курдючного сала, казалось, сочился сквозь трещины в глине и поры горячих от солнца камней.

Калантар проехал базарный купол, в сумраке которого приютились лавки ювелиров, сундучников, менял и продавцов сладостей. Не задержался он и у выложенного прямоугольными плитками водоема, где под чинарами стояли покрытые текинскими и хоросанскими коврами настилы знаменитой в городе чайханы.

Разноцветные чалмы и тюбетейки склонились над пузатыми чайниками и пиалами. В огромном казане уже кипела огненно-красная шурпа, а шашлычники раздували угли и мелко-мелко рубили длинными ножами сладкий и слезно-пахучий лук.

После трудного и долгого пути по степи, где ветры катают шары верблюжьей колючки, по пустыне, где солнце покрывает камни черным лаком, было бы так хорошо посидеть над зеленой непрозрачной водой, в которой еле колышется городской сор и желтые узкие листики ивы.

Неторопливо наклонить чайник и слушать, как поет бьющая в дно пиалы, окруженная паром, чуть окрашенная струя живительного кок-чая. Три, а может, четыре осторожных глотка — и вот уже усталость покидает ноги, распаренное тело просыхает, набухшие дурной кровью вены съеживаются и уходят под кожу, которая становится эластичной и сухой. Еще два глотка — и зной оттекает от головы, легко дышит грудь, а в желудке оживает здоровый и радостный голод. И тогда рука быстро выплескивает остывший чай в водоем, где волнистая дрожь искажает прямые стены ближнего медресе и пробуждает синеву изразцовых плиток,

что предстает вдруг глубокой и чистой, как лазурит. И опять гудит и паром стреляет струя в пиале. Вторая эта пиала изгонит из тела все яды распада, наладит ток крови и смирит желчь разочарований и неудач.

А после этого как удержаться и не съесть нежной и скользкой лапши, плавающей в наперченной подливке среди золотых кругов жира и маслянистых волокон разваренного лука? Потом палочек пять шашлыка и новый, распираемый паром чайник...

Но суровым презрением отвечают калантары на все соблазны мира. С тех пор как прозревшие надели плащи из белой шерсти — суфа и стали суфи — людьми в плащах, сердца их закрылись для вожелений и утех плоти. Что им до мирской суеты и до самого мира, если все лишь круги на воде, минутная рябь в водоеме под капризным дыханием ветра? Мир только зеркало, в котором отражается божественная сущность, как отражаются в этой зеленой воде порталы мечетей и медресе. Путь человека в миру подобен случайно мелькнувшему отражению несуществующего образа. Померещилось что-то — и нет ничего. Так родится в слепоте человек и уходит незрелым навсегда из этого суетного мира, который всего лишь зеркало, часто кривое и темное. «Уйди от этой видимости, прозрей для истины и ты увидишь реальность», — учил великий мистик Газали, которого Аллах одарил истинным зрением. Свершилось это в пятом столетии пророческой хиджры³. С той поры существуют суфи — люди в плащах из белой шерсти. Аскеты и кающиеся, устремившиеся из Багдада и Басры во все города мусульманского мира.

«Суфизм состоит скорее из чувств, чем из определений, — попытается объяснить потом Газали. — Цель человека на земле только в одном: в уничтожении фана — собственного я, которое ослепляет зрение цветными иллюзиями несуществующей жизни. Только уничтожив, только вырвав из сердца фан, можно слиться с единственной реальностью и познать эту реальность, у которой даже названия нет и которую мы по немоте языка своего именуем божеством».

«Существование сотворенных вещей, — писал мудрый Ибн Теймийя, — есть не что иное, как существование Творца, все исходит из божественной сущности, чтобы в конце концов в нее возвратиться».

А потом святой Абд аль-Кадир аль-Гилани основал первую общину суфиев — орден кадирийя, единственным обрядом которого сделался зикр — славословие Аллаху, которое следовало повторять до бесконечности вслух или мысленно, ночью и днем, в гостях и дома, в беседе и трапезе.

Вот путь к божеству, дорога к прозрению, верное средство уничтожить фан. Проводником же на этом пути пусть станут четки из ста зерен, по числу имен Аллаха.

Идите же, суфи, в мир и знайте, что он только зеркало Бога, учите других и не забывайте, даже мысленно славословя Аллаха, не забывайте, что все вы в руках наставника, «как труп в руках обмывальщика». Вы не принадлежите себе. Вы зерна четок, которые перебирает наставник. Он — носитель барака, таинственной власти, что переходит невидимо от шейха к шейху, как искра от трута к труту. Первую же искру возжег сам Аллах и отдал ее основателю ордена — первому шейху, святому.

И пошли, и пошли калантары по дорогам Востока, по пыльным и знойным дорогам. Но среди всех орденов суфийских наиболее возлюбило небо орден накшбенди. Молчаливых и постигающих, всезнающих, всеведущих. Суровый орден, которому Аллах через посланцев своих — святых шейхов дал право и мощь устранять всех, стоящих на пути божественной воли.

Идите же, калантары-накшбенди, живите подаванием правоверных, довольствуйтесь малым, ибо мир лишь круги на зеркальной воде. Идите же, славословьте Аллаха, и вы обретете дорогу к нему. Но помните, накшбенди, что и славословя, станете держать

³ Мусульманский календарь. Началом счисления хиджры считается первый день первого месяца того года, когда, по преданию, Магомет переселился из Мекки в Медину (622 г. н. э.)

открытыми глаза и уши. Все постигайте. Но нем пусть останется ваш язык. Только наставнику, только доверенному брату сообщите вы все, что узнаете на путях своих. И помните также всегда, как вы помните имя Аллаха, что вы только трупы в руках обмывальщика, только бусины четок на шелковой нитке, связующей вас в братство. Наставник, шейх ордена, старец суфийский, великий ишан — единая в мире иллюзий реальность. Веленье его, мановение пальца... Вы все понимаете братьянакшбенди, с Богом, идите.

Ишак закричал горестно и безнадежно, когда ноздри его почуяли сладостные запахи чайханы. Овес, распаренный горох, а то и влажный клевер да еще, конечно, воду почуял ишак в синем и жирном дыме мангалов. Он даже сделал попытку свернуть к чайхане, но суровый седок так пришпорил его заскорузлыми каменными пятками, что в пустом ишачьем животе отдалось глухим барабанным ворчаньем.

Калантар направил ишака прямо ко дворцу правителя. Путь этот хорошо был знаком калантару. Долгие годы жил в том дворце богобоязненный мирза Шахрух — сын железного старца Тимура, завоевателя мира, которого муллы льстиво называли мечом пророка, а дехкане — повелителем. Когда же Тимур умер, то все: и дехкане, и муллы, стали звать его просто Тимурлян, Тимур Ленг точнее, что означает Тимур Хромой. Потому как и вправду он был хромым. И еще, если только не лгут летописцы, властелин плохо владел поврежденной в каком-то сражении рукой.

Глава вторая

«Можете ли вы спасти меня всеми этими деньгами и купить мне на них один день, который я проживу?»

И не могли они этого.

«Тысяча и одна ночь»

Каждого из сыновей и взрослых внуков Тимур сделал правителем города, области, даже целой страны, ибо своей плотью и кровью скреплял пределы обширной и многоязыкой державы. Богомольному и не слишком любимому сыну Шахруху он отдал Герат. Спокойно и мирно этим городом правил Шахрух. Точнее, жена его Гаухар-Шад. Сам же правитель проводил свое время в молитвах и долгих беседах с божьими избранниками: муллами, улемами и мударрисами. И подобно тому, как другие правители умножают гаремы, Шахрух умножал свою знаменитую библиотеку, в которой собрал творения мудрецов древности и лучших умов Востока и Запада.

Сыновья его — Байсункар, Ибрагим и Мухаммед-Тарагай выросли при дворе самого Тимуряна. Суровый дед самолично воспитывал внуков, как воспитывал раньше сыновей, и надеялся вырастить правнуков.

В году хиджры семьсот семьдесят втором Тимур устроил пышный праздник в честь многочисленных побед над врагами. Словно торопясь, подгоняемый смутным предчувствием, престарелый властитель в тот день оженил своих внуков. Самый умный из них, Мухаммед-Тарагай, получил в жены ханскую дочь — молодую красавицу Ога-бегум. Мухаммед-Тарагай с детских лет обнаружил такое достоинство, простоту и величие, что прозвали его Улуг-беком — Великим князем. После свадьбы он стал Улугбек-Гурагоном, ханским зятем, как был ханским зятем и дед его — грозный Тимур-Гурагон. Но поскольку в день свадьбы Улугбеку было всего лишь десять лет, он остался под кровом Тимура. В тот же год определил Тимур внукам и их наделы: Улугбеку — Ташкент, Сайрам, Яны, Ашнара и Моголистан; Ибрагиму — Фергану с Хотаном и Кашгаром.

А год спустя, застигнутый в последнем походе тяжелой болезнью, Тимур умер. Случилось это в городе Отраре, в месяце сафар. Шараф-ад-дин так описал смерть Тимура в своей книге «Зафар-Наме»:

«Хотя мауляна Фазл-Аллах Тебрезиде, один из искусных врачей, повсюду сопровождавший Тимура, употреблял все свои силы для лечения и давал ему наилучшие лекарства, боль со дня на день усиливалась и появлялись новые болезни, как будто исцеление одной увеличивало другую».

Трудно и долго умирал человек, шутя отнимавший жизнь у многих и многих. В одной Индии велел порубить он почти сто тысяч пленных, безоружных, но непокорных, а потому и опасных. А в Ургенче... Да что там Ургенч! С холодной кровью убивал Тимур, не ведая ни жалости, ни раскаяния, и даже удовольствия не испытывал от убийства. Он просто делал свое привычное дело, уверенный, что лучше отнять жизнь у десяти невиновных, чем пощадить одного, но опасного, могущего стать врагом.

Беспощадный к другим и к себе, привыкший к чужой смерти и к собственной боли, поскольку тело все чаще отказывалось служить неукротимому духу, он вдруг понял бесповоротно, что умирает. И не страх, даже не удивление почувствовал, когда осознал всю безысходность и неотвратимость того, что с ним происходит. Только холод, сумрачный холод и страшное безразличие. И лишь тогда испугался не ведавший страха Тимур, когда дело всей его жизни вдруг мелькнуло ему безразличным. Он испугался и не дал себе додумать до конца, не позволил себе ощутить, насколько сердце его отстранилось от всего, что есть и, тем более, будет.

И подхлестываемый нарастающими спазмами боли и подгоняемый страхом перед остановленной в мозгу мыслью, он велел позвать всех своих жен и амиров⁴. И, не давая замершему клубку мысли размотаться, задыхаясь от боли, продиктовал завещание:

«Мое убежище находится у трона Бога, подающего и отнимающего жизнь, когда он хочет, милости и милосердию которого я вас вручаю. Необходимо, чтобы вы не испускали ни криков, ни стонов о моей смерти, так как они ничему не послужат в этом случае. Кто когда-либо прогнал смерть криками?..

...Теперь я требую, чтобы мой внук Пир Мухаммед Джахангир был моим наследником и преемником, он должен удерживать трон Самарканда под своей суверенной и независимой властью, чтобы он заботился о гражданских и военных делах, а вы должны повиноваться ему и служить, жертвовать вашими жизнями для поддержания его власти».

Стоя на коленях перед одеялами, на которых умирал великий завоеватель, амиры поклялись, что свято выполнят его последнюю волю.

И Тимур умер, так и не додумав до конца, так и не измерив той бездны, которая в урочный час раскрывается вдруг перед внутренним оком человека. Одни при виде ее стонут и плачут, другие в ужасе отшатываются, третьи пристально всматриваются в клубящийся серый туман. Но у всех равно тоскует и сжимается сердце. И никто не знает, что видят люди в роковой миг, удастся ли им, пусть немногим, хоть что-то разглядеть в том тумане? Не узнали бы люди и о том, что увидел там и понял Тимур, если бы он позволил себе видеть и понимать. Но он не позволил и умер. И тем вернее никто не проведал о последних думах Тимура. Мертвый вождь показался ветеранам джагатайской гвардии таким же железным, как и при жизни.

Поход продолжался. От армии скрыли смерть повелителя. А тело его тайно перевезли в Самарканд, хотя еще при жизни подготовил себе Тимур подземную усыпальницу в миллом своем Шахрисабзе, где родился и построил потом большой дворец. Но весть о смерти повелителя мира полетела, как искра вдоль пороховой дорожки. На другой день уже каждый нукер знал о том, что не стало того, кто казался бессмертным.

Мирзы⁵ же — сыновья и внуки повелителя и верные амиры отказались признать Пир-Мухаммеда своим государем.

⁴ Амир (эмир) — правитель

⁵ Мирза — точнее, амир-заде, что значит «из дома правителя», в данном случае принц

Мировая держава вновь распалась на отдельные, чужие друг другу страны и города.

Порвались веревки, связующие верблюдов в один караван, и горячий ветер пустыни и затмившая солнце песчаная мгла разогнали их в разные стороны. Кровью и плотью своей связал Тимур подвластные города и страны. Но плоть поднялась против плоти, а кровь восстала на кровь.

Не стало больше ни братьев, ни отцов, ни сыновей. Каждый поднялся против всех, и все — против каждого. И добавочным жаром пылала в этой смертельной схватке общая у всех Тимурова кровь. После четырех лет феодальной смуты и войн Шахрух одолел наконец своего племянника и главного соперника Халиль-Султана. Из всей обширной империи ему удалось сохранить лишь Хорасан и Мавераннахр — междуречье рек Аму и Сыр, ядро распавшейся державы, любимую жемчужину в короне некоронованного хромца.

Хорасан с центром в Герате Шахрух оставил за собой, а междуречье вместе с Самаркандом отдал сыну — Улугбеку Гурагону. Юному властителю было тогда пятнадцать лет. Потому и приставлен был к нему опекуном амир Шах-Мелик.

Но весной семьсот восемьдесят восьмого года хиджры против Шах-Мелика выступил властитель Отраны Шейх-Нур-аддин и хисарские опекуны законного наследника Пир-Мухаммеда Джахангира. Шахрух пришел на помощь к сыну и окончательно разбил Шейх-Нур-аддина уже в следующем году. Семнадцатилетний Улугбек стал полноправным правителем всего междуречья и прилегающих областей (с северо-запада до Саганака, с северо-востока до Ашпары), а еще через три года присоединил к себе и Фергану.

Свыше сорока лет управлял Улугбек Самаркандом. Мир, казалось, воцарился среди неукротимых тимуридов. Но не дано барсам делить одно логово. В восемьсот двадцать четвертом году сын Байсункара, Султан Мухаммед, восстал против своего деда Шахруха. Престарелый властитель Герата быстро усмирив свои западные фарсидские земли, но внезапно заболел и умер, не назначив наследника. Приняв командование над армией, Улугбек отдал солдатам страну на три дня и три ночи, после чего посадил в Герате сына Абд-ал-Лятифа и отошел к Амударье. С собой он увозил тело отца и драгоценности матери Гаухар-Шад, взятые из подвалов построенного ею медресе. По пути его войско порядком потрепало летучие отряды хорасанцев и узбеков, отбивших на переправе большую часть обоза. Укрывшись в Бухаре залечивать раны, Улугбек остался там до весны, а тело Шахруха переправил в Самарканд, где покойного государя уже ждал саркофаг в Гур-Эмире.

Царица же Гаухар-Шад, в действительности правившая страной, тайно послала гонца в Герат к своему любимцу Ала-ад-дауля, брату восставшего Султана Мухаммеда, а войска передала под командование Абд-ал-Лятифа, Улугбекова сына, который находился при ней, в зимней ставке Шахруха. Приняв командование, Абд-ал-Лятиф тоже снарядил гонца, к отцу в Самарканд. Но не успели еще гонцы доскакать до обеих столиц, как, оповещенный через тайных своих агентов, выступил из Балха внук Шахруха Абу-Бекр, покойному отцу которого, Мухаммеду Джуки, намеревался отдать трон правитель Герата. Абу-Бекр переправился через Аму и двинулся на Герат. Узнав об этом, Улугбек велел своим войскам занять Балх и утвердился там как единственный из оставшихся в живых сын Шахруха и его прямой наследник.

Но тогда же в войсках, которые возглавил Абд-ал-Лятиф, началась смута. Неукротимые тимуриды, как коршуны, рвали кровотокающую державу. Сын Байсункара Абул-Касим Бабур увел часть нукеров и бежал вместе с сыном Мухаммеда Джахангира Халиль-Султаном в Хорасан, заняв по пути Мазандеран, а вкрадчивый и послушный Ала-ад-дауля вступил по наущению царицы в Мешхед.

Суровый и мужественный Абд-ал-Лятиф навел в войсках порядок и, заключив царицу, приходившуюся ему родной бабкой, под стражу, направился на восток. Но близ Нишапура попал в засаду и оказался в плену у Ала-ад-дауля, который немедленно освободил свою покровительницу — царицу Гаухар-Шад. Вчерашний победитель сделался узником, недавний узник возвысился до распорядителя судеб. Абд-ал-Лятиф просидел в гератской крепости Ихтияр-ад-дин до тех пор, пока не был подписан мирный договор, по которому

бассейн Мургаба окончательно отделил Герат от Самарканда.

Принц Абд-ал-Лятиф возвратился к отцу и получил от него правление над всей областью Балха.

Но это был непрочный мир. Весной 826 года хиджры, что соответствует 1448 году последователей распятого Исы, произошла решающая битва в Тарнабе между войсками Ала-ад-дауля и Улугбека, в которой Ала-ад-дауля был полностью разбит. Улугбек занял Герат и посадил амиром сына Лятифа, которому целиком был обязан победой.

На краткий миг ветер мира повеял над Мавераннахром.

Казалось, ядро Тимуровой державы теперь восстановлено. Улугбек вновь спокойно правит Мавераннахром, к которому тяготеют и Балх и Фергана, а любимый сын его воцарился, наконец, в Хорасане, столица которого Герат столько раз становилась источником смут.

Но, пришпорив босыми пятками облезлого ишака, трусит ко дворцу гератского правителя худой, оборванный калантар. Тело его почернело под солнцем пустыни, вековая пыль Азии въелась в кожу, и время изборозило ее глубокими морщинами. Но сумрачно поблескивают из-под остроконечного колпака глаза калантара, черные угли его зрачков, слоновая кость желтых его белков.

Глава третья

Эй, муфтий, погляди... Мы умней и дельнее, чем ты. Как с утра мы ни пьяны, мы все же трезвее, чем ты. Кровь лозы виноградной мы пьем, ты же кровь своих ближних, Сам суди — кто из нас кровожадней и злее, чем ты.

Омар Хайям

Гневно покусывая ногти, лежал на ковре мирза Абд-ал-Лятиф. Из опрокинутого узкогорлого, индийской чеканки кувшина медленно вытекала липкая, густая струя гулаба. Чудесные деревья в цвету, павлины и газели делались от нее темными и тяжелыми. Словно ночь вытекала из медного горла. Мирза недовольно скривился. Резче обозначились на сумрачном лице его монгольские скулы, унаследованные еще от далеких Тимуровых бабок. Тоска и бессильный гнев днем и ночью точили сердце победоносного воина. Любя, подобно отцу, науку и ее самоотверженных ревнителей, он сам наблюдал за светилами, долгие часы проводил над историческими свитками и диванами поэтов. Но все обрыдло Лятифу: и поэзия, и астрономия, в которой так преуспел Улугбек, его кровный отец, соперник и оскорбитель. Хорасанский поход, отделивший навеки Герат от Тимурава Самарканда, лег границей вражды между отцом и сыном, чьи пути дотоле всегда пролегали лишь рядом: на звездной башне, на мушаире, где состязались поэты, на ратном поле и в тугаях в часы веселой охоты на цапель — всюду стремя к стремени, локоть к локтю.

Принц хлопнул в ладоши, и в комнату неслышно проскользнул его верный катиб — секретарь, писец и наперсник — Саманбай.

— Шахматы! — сказал мирза, брезгливо прикрыв лужу шитой золотом шелковой подушкой.

Катиб достал из кораллового ларца костяные фигуры фарсидской работы и расставил их на доске: вначале аккуратно и бережно красную армию принца, затем — свою, черную. Мирза долго глядел на доску, не делая первого хода. Потом вдруг сгреб несколько фигурок и с силой швырнул их прямо в кыблу — восточную стену комнаты, на которой узким золотым месяцем было отмечено направление на священную Мекку.

Саманбай попятился к стене и, шаря позади себя, чтобы не поворачиваться спиной к мирзе, стал собирать шахматы.

С тоской пресыщенности и беспокойства глянул мирза на серебряные подносы,

уставленные шербетом, рахат-лукумом, белой бухарской халвой и индийскими орешками в меду. Гератские дыни и черно-густое, как птичья кровь, застывшая на перьях, самаркандское вино, сладкие пирожки и воздушные лепешки — все было равно противно ему.

Он томился и страдал в гератском своем дворце, который так и не стал для него домом. Погладив куцую бородку, что росла у него, как у многих других представителей древних джагатайских родов, отдельными редкими волосками, он лениво ткнул загнутым вверх носком туфли своего катиба, вновь расставлявшего шахматы.

— Когда придут мои слоны? — капризно растягивая слова, спросил принц.

— Гонцы сообщили, о солнцеликий мирза, что двенадцать слонов вместе с искуснейшими погонщиками уже давно покинули Серендип и благополучно прибыли в байсорскую гавань. Теперь вместе с большим караваном кабулистанских купцов они следуют в твой, о надежда правоверных, возлюбленный Аллахом Герат.

Слоны! Зачем ему эти нелепые животные, которым нужно столько сена, что можно прокормить бессчетные табуны лошадей. В бою от них нет почти никакого проку. Не сравнить с летучей конницей. Война была окончена, но мысль то и дело возвращалась к войне. Отец, желая, как можно думать, продемонстрировать гератцам, что время Шахруха прошло и область вновь пора пристегнуть как удельное княжество к Мавераннахру, начал с притеснения собственного сына. Он словно вырвал его из сердца, забыв раз и навсегда, что в жилах амира гератского течет та же Тимурова кровь, что этот амир плоть от плоти его, Мухаммеда-Тарагая, кость от кости. Значит, правду говорят мудрецы, что нет для государя ни отца, ни сына. Только держава, и только рать: нукеры, кони, слоны.

— Когда здесь будут?

— Если милость Аллаха, который...

— Будешь говорить так длинно, велю подрезать тебе язык.

— К святому празднику рамадана, пресветлый мирза, если...

— Подрежу!

Привыкший к капризам принца писец в притворном страхе пригнул голову. Распахнулись резные, изукрашенные куфическим, славословящим Аллаха письмом двери, за которыми днем и ночью стояли двое стражников с секирами.

— От пира Ходжи Ахрара ташкентского к амиру Герата расул! ⁶ — доложил начальник охраны.

Бесшумной тенью скользнул за ковры писец Саманбай.

Мирза еще сильнее нахмурился, что-то сосредоточенно обдумывая, вновь погрыз ногти. Потом велел звать ташкентского посла.

Босоногий калантар прошел, оставляя следы, по ширазскому ковру к мирзе. Двери за ним закрылись.

— Благослови тебя Аллах, мирза, — просто сказал посол.

— Я вот распорядюсь, чтобы тебе дали сотню палок, почтенный расул, — усмехнулся принц, — тогда ты будешь знать, в каком виде достойно предстать перед лицом государя.

— Обидев калантара, ты совершишь великий ход ⁷, мирза, — холодно ответил паломник. — В глазах Аллаха и далк ⁸ дервиша, и золотой халат амира — не более, чем пыль на дороге.

— Стража! — хлопнул в ладоши принц.

— Бойся обидеть калантара, мирза, — тихо сказал посол, доставая из-под пыльных

⁶ Посол

⁷ Ходд — преступление, наказуемое Кораном

⁸ Далк — одеяние дервишей

лохмотьев золотую пластину с тамгой. — Я мюрид суфийского пира Ходжи Ахрара — ишана всемогущего братства накшбенди.

Но за спиной калантара уже стояли два дюжих джагатая. Под белыми их бешметами поблескивали надетые прямо на халаты румийские кольчуги. Слепящие солнечные пятна переливались на луноподобных секирных лезвиях и острых шлемах, обмотанных зеленым шелком чалмы.

— Вспомни башню Ихтияр-ад-дин, мирза, — еле слышно прошептал калантар, сбросив нетерпеливо и резко руки джагатаев со своих плечей.

Мановением кисти мирза прогнал стражей.

Он вспомнил башню и ту серую, прокаленную солнцем крепость, вспомнил, куда привезли его, истерзанного и запыленного, после недолгой и яростной битвы, столь неудачной и позорной, что и думать о ней нельзя без гнева и горечи. И вновь показалось мирзе, что саднят от пота царапины на ладонях, что черная пена коркой запеклась на губах, что зубы противно скрипят песком, а душная пыль скребет опаленное горло и грязной слезою стекает из глаз.

Он и помыслить тогда не мог, что из-за поросших пыльным бурьяном нишапурских холмов выскочит вдруг конница Алаад-дауля, брата презренного предателя — Султана Мухаммеда, вероломно поднявшего мятеж против благочестивого деда Шахруха.

Как вылетали тогда лохматые кони из-за холмов! Как закатное солнце туманилось за рыжей тучей, поднятой копытами! С копьями наперевес летели джигиты, пригнувшись к лукам коней, размахивая бедурами, описывая ими в воздухе свистящие круги! Огромный малиновый солнечный шар так и стоит перед глазами. И черная конница в рыжих клубах, и сухой беспощадный блеск оружия и сбруи.

Враги ворвались в самую середину походных колонн, которые так и не успели развернуться для боя. Застигнутые врасплох, они дрогнули и побежали, а вражеская конница давила их копытами, сминала крутыми горячими грудями ржущих коней, полосовала на скаку ослепительными дугами бедутов и сабель.

Лишь сотня его джагатаев устояла перед внезапным и стремительным этим броском. Сгрудившись вокруг своего принца, джагатаи бросались под вражеских коней и рассекали им тугие, напряженные бешенством сухожилия. Как яростно умирали они, падая в серую, прибитую копытами пудру, орошая ее темными пятнами крови. И как быстро их кровь уходила в дорожную пыль, становясь частицей земли, превращаясь в саму землю.

Почетным пленником доставил Лятифа гордый победитель в Герат. Принц понимал, что тот не посмеет, даже если захочет, пролить кровь тимурида, брата. Он мог не бояться за свою жизнь, когда его вели по винтовой лестнице в крепостную башню. Но тем сильнее, тем горше было его унижение. Победенный, растоптанный, был он привезен в гератскую крепость Ихтияр-ад-дин. Как рвалось и тосковало тогда сердце от невозможности отомстить!

Мог ли помыслить он, что месть его будет и скорой и полной? Могли вновь вообразить себя стоящим во главе войск? Победоносных войск.

О сладостное слово «Тарнаба»!

Отец, мирза Улугбек Гурагон, доверил Лятифу левое крыло. Собрав вместе с Лятифом девяностотысячную армию, он добрую половину ее отдал сыну. Сам, вместе с гвардией и боевыми слонами, расположился в центре, а на правый край поставил другого сына — Азиза. И Аллах внял иступленной мольбе раба своего. Ала-ад-дауля сначала ударил по левому крылу, и крыло устояло. Враг разбился о железную стойкость его и отхлынул. Но поздно: за спиной его уже были спешно переброшенные Улугбеком тумены Азиза.

Славный день, день яростной битвы, день великой победы при Тарнабе.

Вот и сидит он, мирза Абд-ал-Лятиф, в том самом Герате, куда привезли его полоненным, амир сидит теперь в Герате, правителем сидит в гератском дворце! А бунчук его развеивается над той самой крепостью, над той самой башней, куда привезли его с почетом, что только подчеркивало унижение.

Что же еще может, припомнить он, мирза Абд-ал-Ляtif, в час своего торжества? Что еще хочет напомнить ему этот оборванец, этот грязный и дерзкий дервиш, которому мало даже сотни палок?

— Вспомни, мирза, крепостную башню, — все так же тихо сказал калантар. — Отчаяние свое вспомни и воду в кувшине, что показалась тебе горькой, как сок алоэ.

Верно, было и так... Косой луч заходящего солнца прорезал круглую комнату башни. В нем танцевали тонкие шерстинки, разноцветные крохотные ворсинки ковров, устилавших глинобитный пол. В забранное узорной мавританской решеткой оконце лился и лился тот знойный солнечный столб. А за окном открывались синие вечеряющие дали, смутные холмы и серебристые ленты дорог, влажные густые тени и красная, как вино, полоса над развалинами древнего городища.

И так пылен и сух был солнечный луч, так чист и далек простор, так влажны и прохладны недоступные синие тени вдали, что принц почувствовал жажду. Он налил в пиалу воды из кувшина, облизывая пересохшие губы, следил, как пенится простая вода, подобно весеннему кумысу.

Но жажда осталась неутоленной. Горше полыни и сока мясистых колючих листьев алоэ показалась ему вода, потому что была она водой безнадежности и плена.

— Верно, было такое, — сурово ответил мирза. — Но откуда тебе это ведомо, дервиш?

— Припомни теперь, мирза, — улыбнулся ему калантар, словно дерзко посмел не расслышать вопроса, — припомни, как стала вдруг упоительно сладкой горькая та вода.

— Ты ли это, серый мутакаллим? ⁹

— Теперь ты узнал меня, мирза, — ответил калантар и без приглашения сел на ковер.

Серый мутакаллим пришел к нему на третьи сутки после того, как принц, отравленный желчью тоски и отчаяния, отказался от пищи и питья. Лежа на тюфячке, вдали от окна, молча отстранял он лекарей, протягивающих ему чаши с целебными и укрепляющими напитками, готовясь встретить вскоре Азраила — ангела смерти.

Тогда и увидел он у изголовья серого мутакаллима. Синяя ночь тихо светилась за узорной решеткой. Она плыла и сгорала в лунном огне, струилась и таяла, но не могла ни сгореть, ни растаять. И от дивного света ее круглая башня позеленела. Светлый узор на ковре превратился в зеленый, темный окрасился в тот глухой черный цвет, который обретают во тьме все красные вещи. Стена же стала белой, оставаясь при этом зеленой. И тень человека четко-четко чернела на этой стене. А одежда его, простая одежда бродячего мутакаллима, под луной была серой. Но серой, как свет, который идет от луны, стремительно летящей навстречу дымчатым облачкам.

— Слушай, бедный мирза, — тихо позвал его серый мутакаллим. — Есть над пропастью адской особенный мост. Мы его называем сиратом. После смерти все души ступают на этот сират, что тонким волосом туго натянут над страшным ущельем. Ты уверен, что сможешь пройти по мосту и не свалишься в смрадную адскую бездну? Уверен? О, мой мирза. Много благочестивых и праведных дел надлежит тебе сделать, чтоб мост тот обрел вдруг перила, когда придет твой черед. Живи же пока, во имя Аллаха, — он склонился над принцем и вновь прошептал, — бисмиллах ¹⁰.

Потом достал субха ¹¹ в сто зерен из тигрового глаза, которые желтым огнем

⁹ Мутакаллим — богослов

¹⁰ Бисмиллах — во имя Аллаха (первые слова корана)

¹¹ Субха — четки

загорелись в ночи.

— Эти четки, мирза, — знак великого тайного братства. Мы поможем тебе вернуть славу и трон, бисмиллах. А покамест живи и не смей отказываться от еды. Ибо нет для правоверного большего греха, чем добровольно лишиться себя жизни. Ешь и пей, бисмиллах.

Он взял пиалу и наполнил ее той же самой водой из того же кумгана, хранившего горечь полыни и желчи.

— Выпей, принц. Пусть отныне вода напоит тебя сладостью мира, надежды и веры. И да будет покоен твой сон, бисмиллах.

И вправду вода показалась мирзе ароматной и сладкой, словно гулаб, упоительной и прохладной, как кокосовое молоко. Он осушил пиалу и заснул крепким здоровым сном.

— Простите, что не признал вас сразу, мауляна, — почтительно обратился к калантару принц.

— Я не мауляна, мирза. Ничтожный дервиш и недостойный мюрид суфийского старца, который возложил на меня счастливую ношу и сделал расулом печальной вести.

— Счастливая ноша? Печальная весть? О чем ты?

— Братство наше поручило мне вас, мирза. Денно и ночью я буду молиться за вас, разрушать коварные планы ваших врагов, в меру ничтожных сил своих помогать вам, о светлый мирза, надежда ислама. Это счастливая ноша. Но есть и печальная весть.

— Что это за весть? В Самарканде?..

— В Самарканде. Но прежде позвольте, мирза, задать вам вопрос. Если я верно знаю, а мне надлежит верно знать все, что касается вас... Так вот, если верно я знаю, вы командовали левым крылом в тарнабском сражении, затмившем победоносные битвы Тимура — властителя мира. На правом крыле стояли тумены вашего младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза. Так, мирза?

— Так.

— И разве не вам и не вашим туменам обязан мирза Улугбек своей победой? Разве не ваши львиная отвага, победоносный гений, быстрый ум и ратная доблесть опрокинули врага и решили исход битвы?! О, кто не видел этого своими глазами может, конечно, говорить и другое. Но отсохнет язык и лопнут глаза у лжеца. Я-то видел, как ваш конь, этот благородный из благородных араб, словно Бурак, на котором пророк Мухаммед вознесся к высшим пределам неба, носился по полю битвы. Словно Искандер Двурогий, летели вы на своем благородном Бураке по ратному полю. Вы были в самых опасных местах. И там, где были вы, там воцарялась победа. Ваши тумены приняли главный удар неприятеля и нанесли ему сокрушительное поражение, от которого он бы уже не оправился, не будь даже туменов вашего младшего брата мирзы Абдал-Азиза и слонов Улугбека Гурагона. Разве не так?

Как зачарованный слушал мирза сладкие речи босого калантара. Дым сражения носился перед его глазами, ржали кони, ревели боевые слоны, и тучи стрел неслись вдоль красной полосы зари. И вправду, то была славная битва. Сам Тимур не постыдился бы приписать ее к своим неисчислимым победам. И может быть, действительно был прав этот дервиш, ведь со стороны виднее... Во всяком случае, именно его, Лятифа, тумены приняли на себя первый удар. Это-то бесспорно. А что там было дальше, кто может знать точно. Со стороны виднее... Ему было не до того. Он воевал, командовал своими туменами, носился, как говорит этот дервиш, по ратному полю.

— Скромный и благородный мирза! Ты молчишь, но я отвечу за тебя. — Калантар возвел руки к небу. — И пусть накажет меня Аллах, если я солгу хоть словом. Это ты, ты один победил при Тарнабе. О, эта битва! И через тысячу лет люди будут помнить о ней, а поэты прославят ее в сладких своих касыдах. И тем чернее, презреннее выглядят те, кто похищают у героя его заслуженную, кровью добытую славу, чтобы приписать ее себе. Мерзкие трусливые шакалы, презренные сыновья греха, воры, готовые украсть... Но что

говорю я, поддавшись гневу? Да отсохнет мой язык! Я осмелился... Ради Аллаха, прости меня, мирза.

— О чем это вы, почтенный калантар? Кто хочет украсть у меня славу?

— Нет-нет, забудьте, мирза, все, что сказал я, недостойный. — Дервиш обнаружил внезапный испуг. — Я не смею даже называть их имена. Разве червь, ползающий в пыли, может знать о путях льва? Разве ему ведомы эти пути? Не мне судить... Я только видел, как вы носились на своем Бураке в пыли сраженья, и только знаю...

— Что вы знаете? Что?

— Не смею...

— Моего прадеда Тимура никогда не вынуждали спрашивать дважды, дервиш. Говори! — нахмурился гератский амир.

— Правнук превзойдет победоносного властелина мира. Тарнаба — это только первый полет молодого орла. И прав молодой орел, никто не смеет молчать, если он — великий воин — обращается с вопросом. Но может ли ответчик называть имена, о которых даже помыслить нельзя дурно? — опустил с показным смирением очи долу всеведущий мутакаллим.

— Если ответчик говорит правду, он может называть любые имена.

— Даже имя мирзы младшего брата, о великий амир Герата?

— Так это Абд-ал-Азиз хочет отнять у меня победу?!

— Могу я говорить? — прошептал калантар, придвинувшись почти вплотную к мирзе.

— Да говори, все говори!

— И имя мирзы Мухаммеда-Тарагая, прозванного Улугбеком Гурагоном, я могу называть?

— Говори все, что знаешь! Но берегись моего гнева, если в словах твоих есть ложь. Я никому не позволю... Говори, калантар, не бойся. Только правду говори.

— Хорошо, мирза. Вы так хотели. Я прибыл из Самарканда. Караван, с которым я пришел, только входит в Герат. Не утолив жажды и голода, не совершив омовения и не почистив платье, поспешил я в этот дворец с печальной вестью. С печальной потому, что тайные интриги способны вызвать в благородном сердце не только гнев, совершенно справедливый, надо сказать, гнев, но и печаль. Так вот, мирза. В тот день, когда я покинул Самарканд, правитель его, Улугбек Гурагон, обнародовал грамоту о победе при Тарнабе...

— Ну!..

— И грамота эта... Простите, мирза, даже язык не поворачивается сказать... Грамота эта обнародована от имени одного Абд-ал-Азиза, вашего младшего брата.

— Так... — Мирза подвинул подушку и угодил рукой в липкий гулаб. С отвращением вытер клейкие нити о ковер. — Так, — сказал он, облизывая губы, — значит, это правда?

— Правда, мирза. Рискуя жизнью, удалось мне достать черновик, на котором Улугбек набросал первоначальный текст грамоты. Вот он, — калантар достал из-за пазухи кожаный футляр и протянул его мирзе.

Тот лихорадочно раскрыл футляр и вытащил измятый листок шелковой самаркандской бумаги. Он сразу узнал четкую, красивую вязь, уверенные точки и черточки над буквами. Изысканный почерк насх, всюду, где положено, проставлен знак забар! Сомнений быть не могло — это писал Улугбек, отец.

— Так! — прошептал принц. — Обо мне здесь не говорится ни слова. Будто это не я командовал туменами на левом крыле, будто это не я...

— Выиграли битву при Тарнабе, — досказал за мирзу калантар.

— Что ж! — принц сжал кулаки. Он хотел сказать что-то еще, но только пошевелил губами, как рыба, хватаящая воздух.

— Верно, у мирзы, отца вашего, были веские причины поступить так, — осторожно сказал калантар. — Можем ли мы, ничтожные, знать, в каких горных высях витает крылатый дух его? Герат, Самарканд, соображения высшей политики...

— Это я, по-твоему, ничтожный? — хрипло спросил принц.

— Я о себе сказал, сиятельный мирза.

— Нет, нет, калантар. Ты прав! — Принц усмехнулся, и узкие глаза его почти закрылись. — Для него я столь же ничтожен, как ты, как последний из его рабов. Он смотрит на небо, великий звездочет. Все остальное — только прах под его ногами. Он никогда не любил меня. Другое дело Азиз, тот умеет угодить Улугбеку. Ябеда, льстец, презренный трусишка. Для него нет ничего святого.

— Он лишь подражает кому-то другому, более вознесенному, — печально вздохнул калантар. — Мирза Улугбек не раз говорил, что религии рассеиваются, как туман. Не о таком повелителе мечтали мы, слуги Аллаха, да простит он меня за эти слова.

— Улугбек хочет отнять у меня победу? Но ему не она нужна. Нет! Он смеется над ратной славой, издевается над шариатом, унижает амиров и вельмож. Звезды и астрология для него дороже благополучия государства. Нет, не для себя отнял он у меня победу. Здесь вижу я интригу брата. Мне надо объясниться с отцом. Ты отвезешь ему мое письмо, калантар!

— Я только слуга мирзы. И воля его для меня закон. Но не гневайтесь на меня за совет. Не пишите Улугбеку теперь. Я еще не все сказал вам, мирза. Сердце мое разбивается, когда глаза видят, как страдает благородный лев. Вы слишком великодушны, мирза. Хотите видеть в людях только лучшее. Защищаете там, где другие спешат обвинить. Великая душа, поистине великая душа... Но все обстоит сложнее, чем представляется вам. Мне тоже хочется защитить от дурной молвы светлое имя отца вашего и светлое имя брата. Верно, все же были у них особые основания издать этот фирман. Я только червь придорожный, мирза. А вы, конечно, легко сумеете найти истину, когда узнаете все. У меня так не получается. Я хочу оправдать в глубине сердца деяния, о которых и судить-то не смею, но чем больше думаю о них, тем страннее и непонятнее выглядят они для меня. Не обвиняйте брата, во всем видна воля отца, — хочу сказать я вам, но говорю: не обвиняйте ни отца, ни брата.

— Это твой совет, калантар?

— Моя смиренная просьба, сиятельный принц. Ибо поистине странны деяния великих мира сего. Остается лишь верить, что предприняты они на благо государств и народов. Да укрепит Аллах нашу веру, потому что разум отказывается принять все новые и новые печальные свидетельства.

— Язык у тебя, калантар, как у моего Саманбая. Чего ты все кружишь, как шакал, не решающийся напасть? Говори прямо и откровенно! Я требую этого от каждого воина. Не выношу витиеватого кружения. Не терплю.

— Улугбек Гурагон, мой мирза, выпустил еще один фирман. Все ценное имущество, собранное вами в башне крепости, в которой раньше вы страдали пленником, объявлено собственностью Самарканда.

Принц знал, что отец забрал принадлежавшее лично ему, Лятифу, золото из крепости Ихтияр-ад-дин, и это было первое из полученных им оскорблений. Все же он полагал, что это временная мера, и в надлежащий день сокровища будут возвращены в Герат. Увы, он ошибся. Политические расчеты, в которых отец никогда не был особенно силен, вновь возобладали над справедливостью, здравым смыслом и голосом родной крови.

— Видимо, Улугбек Гурагон посчитал ваши денежки за дань Герата престолу Самарканда, — подлил масла в огонь калантар.

— Ты лжешь, дервиш! Никогда не поверю!

— И я о том же, мирза, — трудно поверить. Остается думать, что правитель всего Мавераннахра сделал это для высшего государственного блага. Не себе же забрал мирза Улугбек сокровища, которые вы добыли мечом в славнейшей из славных битв? Он присваивает ваши украшенные золотой чеканкой и сиамскими лапами сабли, драгоценные сосуды, ларцы с жемчугом, забирает отнятые вами у врага мешки с серебряными теньгами общей стоимостью в двести туманов, малиновый бархат, сафьян и шагренъ — и все это не себе, он отдает вашу военную добычу Тимурову несуществующему государству... — вкрадчиво замолк калантар и добавил вполне равнодушно: — Наверное, брату вашему,

мирзе Абд-ал-Азизу поручит он распорядиться всем этим имуществом?

— Не бывать этому! — Лятиф вскочил на ноги, опрокинув поднос со сладостями. — Это откровенный разбой, а против разбоя есть одно только средство — меч.

— Против отца? — как будто испуганно прошептал калантар.

— За свое право. Что велел передать шейх?

— Шейх Ходжа Ахрар, мудрость его велика и святость его беспредельна, сурово отнесся к фирманам Улугбека. Он не пытался, подобно мне, недостойному, оправдать мирзу. Он осудил его. С тем и послал он меня к вам. Ходжа Ахрар сказал нам, что вы, сиятельный принц, надежда ислама. Посему накшбенди не могут стоять в стороне, когда с вами поступают несправедливо, тем более что неправое дело творит, — калантар понизил голос и почти неслышно выдохнул: — кафир ¹².

— Что ты сказал?

— Это не я сказал, мирза. Так говорит Ходжа Ахрар, великий пир, благочестивый старец суфийский. Я только тень его. Он же давно называет Улугбека кафиром, ибо только неверный может смеяться над Кораном и нарушать законы шариата. Другие же шейхи говорят, что Улугбек — шайтан и богохульник.

На миг, на какой-то мелькнувший миг сердце мирзы сжалось. Разве не он, Улугбек, дал тебе жизнь, мирза? Имя твое и твою гордую кровь тимурида? Искусство слова и мудрость следить ход подвижных светил в сонме неподвижных огней Вселенной? Или не он пришел тебе на помощь, когда враги заточили тебя в крепостную башню? Может, кто-то другой назначил тебя правителем богатой области и прекрасного города, который не устают воспевать поэты? Не ты ли плоть от плоти его, и разве Герат твой не часть державы прадеда твоего Тимура? Почему же и не распорядиться ему твоими сокровищами и деньгами, если ты плоть от плоти его? Почему бы и славу твою не отдать другому, если тот, другой, тоже плоть от плоти его? Доверься же духу его, витающему выше самих звезд, доверься мудрости его, которая, как говорят на всем мусульманском Востоке, равна лишь мудрости Сулеймана, сына Даудова, которому подчинен весь видимый и весь невидимый мир. Пусть же делает он, как считает нужным, ибо печется не о благе своем. Пусть непонятны его пути и высоки неведомые цели. Доверься ему, и будет тебе благо. Если же постигнет его неудача, оплачь ее вместе с ним, ибо ты плоть от плоти его, и его неудача — твоя неудача... Но так краток был этот миг сомнения, так неглубок тоскливый укол в сердце, что мирза ничего не понял и ни к чему не прислушался.

— Говорят, что таких сокровищ, которые собраны вами в башне, мирза, никогда не видели даже на рынках Багдада и Дамаска, — сказал калантар, огладив бороду.

— Не даешь мне забыть мое унижение, дервиш? Зря стараешься. Я ведь и так не забуду.

Принц взял обеими руками чашу с густым самаркандским вином и стал пить глубоко и жадно, как истомленный путник, добравшийся до колодца в пустыне. Быстрые черные струи сбежали по его запрокинутому подбородку. Частыми каплями сорвались они с куцей бородки и лениво расплылись вишневыми пятнами на белом шелку расшитого золотом халата.

— Когда приходит хамр ¹³, уходит хилм ¹⁴. Коран предостерегает нас против вина.

— Поучаешь меня?

— Я только тень ишана. Святой человек, легко читающий книгу судеб, словно заглянув

¹² Кафир — неверный

¹³ Хамр — вино

¹⁴ Хилм — разум

в чашу Джамшида ¹⁵, видит в вас будущего государя. Он поручил мне беречь вас, принц. Не гневайтесь.

— Воля государя — закон. Или старец хочет видеть послушного государя?

— Мусульманского государя. Такого, каким был дед ваш, благочестивый Шахрух. Он воздерживался от вина, как подобает мусульманину, и не позволял употреблять его никому. Даже принцам.

— Он воздерживался и от управления страной, предоставив это моей властолюбивой бабке Гаухар-Шад-ата и вам, почтенные муллы, улемы и калантары. Тимуру небось вы не указывали, что ему пить: кумыс или вино. Я глубоко почитаю избранных Аллаха, но править буду сам!

— У каждого свой путь в небе — у кречета, сокола и орла, — бесстрастно заметил суфи. — Молодой орел взлетит еще выше, чем Тимур — повелитель Вселенной, а нам останется лишь целовать его сверкающий след. Но пока... Не от вина я хочу уберечь будущего владыку мира, а от дурной молвы. Пусть пьет на здоровье, если разум его остается ясным. Не надо лишь чашу свою выставлять напоказ. Вот опять ваш отец Улугбек Гурагон. Весь Самарканд и вся Бухара только и говорят о его изумительном саде. У всех на устах этот Баги-Мейдан, раскинувшийся у подножия холма Кухек. Там мирза отдыхает от трудов земных и ночных звездных бдений. Нет, наверное, человека, который бы не видел его там с чашей в руке. Разве так надлежит государю являть свой лик перед чернью? А сотрапезники правителя? Не каждый амир или визирь попадает в тот, раю подобный, сад. Зато нищие поэты, всякие неотесанные горланы и богохульники — там первые гости. Не гости — хозяева. И, конечно, все эти его звездочеты — астрологи и математики. Без них он и шагу ступить не может. А они-то и есть первые богохульники. Если поэты только издеваются над верой и прославляют вино, то эти его мауляны всерьез отрицают, прости мне Аллах эти слова, бытие самого Господа и вечную жизнь пророка его Мухаммеда. Так-то, мирза.

— Это правда? — быстро спросил Лятиф.

— И должен сказать вам, народ этим очень обижен, — гнул свое калантар. — Так разве правильно будет, если и мирзу Абд-ал-Лятифа станут видеть у мехов да кувшинов с вином? Не секрет, что в Герате и у них в Самарканде свободнее смотрят на мирские утехи, чем в других государствах пророка. Все немного грешны, все охочи до сладостной влаги, веселящей сердце. Но пусть народ видит, что молодой государь чтит религию, на которой стоит государство. Ныне, когда правитель Самарканда преступает запреты ислама, нарушает обычаи, это особенно важно. Пусть поэты читают стихи у фонтанов, пусть струится вино и под чинарами пляшут обнаженные перы — кто б поставил все это в вину Улугбеку? Но его разговоры о Боге, о звездах, о мирах во Вселенной, эта обсерватория — капище зла... Тут сливается все воедино. Если ж вы, молодой государь, своей праведной жизнью продолжите примеры почитания Корана, все преграды падут перед вами.

— Это кто говорит: ты или старец?

— Я только тень.

— Но я и сам слежу за движением звезд, кал ангар.

— Кто не знает об ученых занятиях мирзы? В своих наблюдениях вы далеко превзошли успехи отца. Такова воля Аллаха. Ученик всегда идет дальше учителя. Есть, впрочем, существенная разница. Усилия Улугбека направлены на подрыв ислама, ваши — во славу правоверных. Такую науку шариат одобряет, потому что звездные наблюдения необходимы для процветания народов и государств.

— Так думает пир или это глас его тени?

— У тени нет своего голоса.

— Что же, придется послушаться безгласной тени... Но скажи, калантар: как исполнится предначертание старца, если отцу наследует брат мой Азиз?.. Да и сам отец не

¹⁵ Легендарная чаша, в которой открывалось будущее

так еще стар. Дед мой Шахрух и прадед Тимур жили долго. Или старец считает, что я должен обнажить меч против отца и брата?

— Святой пир не считает так. Жизнь Улугбека священна для Абд-ал-Лятифа. Хотя, если дело касается истинной веры, Коран разрешает любые поступки. Зеленое знамя пророка оправдывает и возвеличивает истинно справедливое деяние. Сын-мусульманин ответчик за душу кафира-отца. Так что здесь никаких я препятствий не вижу. Но, повторяю, суфийский старец в своей доброте не считает мирзу Улугбека кафиром закоренелым. Пусть Улугбек совершит очищение, отправится в Мекку, замолит грехи, пусть потом он безбедно пирует с друзьями в саду. Накшбенди не хотят никаких крайностей. Просто, раз Улугбеку нужно время, чтобы позаботиться о своей душе, пусть делами государства вершит другой... более молодой и к тому же законный наследник, старший сын. А там посмотрим, что будет дальше. На все воля Аллаха.

— Кто же посоветует Улугбеку позаботиться о своей душе? Я? Или, быть может, ваш старец?

— Стечение обстоятельств, в котором умный читает волю Аллаха. Улугбек не любит войн, хоть и задирист. Ему не удалось умножить свои земли, подобно Тимуру, и он разочаровался в походах. Теперь ему хочется жить в мире с соседями, предаваясь пирам в Баги-Мейдане и ночным наблюдениям звезд. Но если его задевают, если кто-то посягает на границы его междуречья, он все же отправляется в поход. Не важно, побеждает ли Улугбек врагов своей рукой или руками других, может быть, более достойных, важно — он побеждает. Пусть в глазах народа он нечестивец, непонятный мудрец и все такое... Но Улугбек государь, и поэтому не упускает случая урвать чужой славы. Доказательством тому — последний его фирман... Вот если бы народ узнал, кто на самом деле является победителем при Гарнабе...

— Пусть! — сжимая унизанные перстнями пальцы, глухо отозвался принц.

— А еще лучше, если этот неведомый пока народу победитель вновь проявит свою доблесть. Заставь этот молодой лев бежать войска Улугбека, с того бы в один миг слезла фальшивая позолота чужой славы. Тогда бы самаркандцы и бухарцы, где ширится недовольство государем, сами прогнали нечестивца, и у него появилось бы время подумать о душе. Но к сожалению, такое едва ли возможно. Благородный лев не пойдет на отца, он для этого слишком высок сердцем и, может быть, недостаточно благочестив. Так что и думать об этом нечего... Хотя, если как следует поразмыслить, можно найти достойные средства, которые не запятнают великую цель. А цель действительно великая: дать Тимуру достойного преемника.

— Как следует поразмыслить, говоришь? Ужели старец ничего не придумал? Не хитри, калантар. Повторяю, будь прям и прост, как мой воин.

— Шейх Ходжа Ахрар поручил мне быть вашим проводником, мирза. Это я должен придумать и обо всем позаботиться.

— Так чего же ты ждешь? — улыбнулся зловеще Лятиф.

— Всему свой срок. А пока мне нужно всегда быть при молодом государе, стать его тенью, оставаясь при этом тенью пира, потому что без накшбенди нам ничего не достичь.

— Что же могут твои накшбенди?

— Все.

— Я велю тебя высечь, дервиш. Мне с детства не нравились сказки.

— Черновик Улугбека, содержание второго фирмана — это дело накшбенди, всемогущих и всепостигающих. Я бы многое мог открыть вам, мирза, но для этого не настала пора. Не все подвластно накшбенди. Душа Улугбека и ваша душа им неподвластны. Но могут они многое. И верьте в чистоту их помыслов. Они хотят, чтобы процветала держава Тимура и вместе с ней — истинная вера, они хотят видеть в столице Мавераннахра великого мусульманского государя и желают ему счастья и долголетия. И чтобы все это стало возможно...

— Тебе, для начала, надо быть возле меня, калантар?

— Да, мирза.

— И кем бы ты хотел видеть себя в моем Герате? Амиром? Главным муллой? Быть может, великим визирем?

— Нет. Только тенью мирзы, только его сейидом.

— В своем ли ты уме, калантар? Ты хочешь стать моим наставником в вере? Да знаешь ли ты, что сейидами становятся не безвестные дервиши, а потомки великих джагатайских родов, прославленные ученые и богословы?

— Знаю. Но вот золотая тамга, что дает мне право стать и сейидом правителя и, если понадобится, даже кем-то более высоким.

В косых лучах, бьющих из зарешеченного окна, вновь блеснула пластинка с таинственным знаком Гэсера — бога войны.

— Ну, допустим на миг, что я даже соглашусь назначить тебя своим духовным наставником. Представляешь ли ты себе, какой шум поднимется во дворце? И что скажет сейид мой, Ходжа Абул-Касим?

— Абул-Касим во всеуслышание заявит о своем желании отправиться в благочестивое паломничество и порекомендует сиятельному мирзе назначить меня на эту должность.

— А я-то было посчитал тебя за мудреца, калантар. — Мирза облегченно, хоть и с сожалением, рассмеялся. — Ты просто бродячий фантаст. Это солнце пустыни Кызыл напекло тебе голову. Да ни за какие блага в мире почтенный Абул-Касим не расстанется со своей должностью. И никакая власть не заставит его совершить подобное безумство. Кроме моей, конечно. Но, скажу тебе прямо, я поостерегусь ссориться с моим сейидом.

— Мирза сказал золотые слова. Он во всем прав. Кроме одного. Вот эта тамга заставит Абул-Касима сказать завтра все, что я велю ему. Если, конечно, мирза согласится.

— Дай мне ясное доказательство твоего могущества, мюрид-накшбенди, — потребовал принц.

— Разве недостаточно?

— Нет.

— Тогда слушай. — Калантар устремил на Лятифа мертвый немигающий взгляд. — Перед уходом Улугбека из Герата тебе составили гороскоп, где сказано, что сын погибнет от руки отца, если промедлит сделать надлежащий выбор. Так ответили звезды, мирза, а им ты, кажется, веришь больше, чем словам благочестивых людей?

Лятиф молча смотрел на калантара. Казалось, мысли принца были где-то далеко-далеко. Потом он вдруг махнул рукой и сказал:

— Ладно, калантар! Давай пробуй. Посмотрим, на что способна твоя суфийская тамга. Если выйдет — твое счастье. Может, тогда и другое удастся... Мне, во всяком случае, старый шайтан Абул-Касим давно надоел. Но имей в виду, если он прикажет прогнать тебя палками, заступаться не буду.

Глава четвертая

Ты одинок среди сотни тысяч лиц,

Ты одинок без сотни тысяч лиц.

Рудаки

Синим дымом полны кривые улочки Самарканда. И страшен багровый закат над мазарами ¹⁶ Афрасиаба. В чайханах и харчевнях, тысячах внутренних двориков жгут на угли сухую виноградную лозу. Она дает сильный устойчивый жар, и быстро гаснут в нежном пепле ее жирные языки, взлетающие вдруг от тяжелой капли бараньего сала. Синей удушливой струйкой уходит в самаркандское небо это сало с горячих углей. Сытным

¹⁶ Мазар — гробница

маревом висит оно над базаром и над лавками вдоль дороги на город Ташкент. И чахнут в том мареве малиновые лучи солнца, погружающегося в древнюю пыль. И страшным становится небо над древним холмом Афрасиаба. Стоямя поставленная плита и низкий четырехугольник ограды — конец юдоли земной. Уступами спускаются тысячи мазаров с вершины до самой стены у подножия холма. А там, за стеной, уже бегают оборванные мальчишки с корзинами горячих лепешек. Люди спешат домой. День кончен, и душный горячий вечер гонит их во внутренние дворики, под чинары и карагачи, за глухой глинобитный забор. Но что за чай без лепешки? Что без нее шашлык или, скажем, кабоб? Только теплым, чуть влажным хлебом можно собрать коричневую мясную подливку и острый соус из алычи. Невидимый дух хлеба струится вверх и сливается с синью бараньего чада. И не смеют встать мертвецы из сухой накаленной глины. Заклятием короткой, но сочной и яростной жизни земной мреет вечерний воздух над Самаркандом. Только бродячие длинноухие собаки бесшумной тенью мелькают среди немых поселений Афрасиаба, раздраженные и обеспокоенные ароматами воскурений грешному богу утробы.

Зажигаются тусклые красноватые лампы в сумраке харчевен и лавок, торгующих сладостями. У ворот базара уже варят плов, и пламя с треском мечется под черным, сверкающим масляными отблесками котлом.

Но на вершину холма, до древних, наверное домусульманских, мазаров и до стен самых святых мавзолеев Шахи-Зинда, где похоронен святой Кусам — сын Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, уже не долетает вечерняя суета. Там ветерок, напоенный полынью, шуршит в кустах чертополоха, и золотой затухающий свет грустно плавится в синих и голубых изразцах.

Мирза Улугбек задумчиво гладит искривленный ствол миндального дерева. Оно зацвело вдруг вторым в этот год, сумасшедшим цветением над лестницей, ведущей к гробнице святого Кусамы — Живого царя, Шахи-Зинда.

Долго молча стоит, а потом поднимается выше и выше, мимо пилонов и стрельчатых арок, мимо звездных орнаментов и густо-синих узоров из сур Корана, выполненных квадратным письмом. По привычке считает про себя ступени. Спускаясь, сосчитает опять. Если числа сойдутся, значит, так угодно Аллаху и будет удача в делах. Нет, не верит мирза суеверной легенде. И все же... Кажется, что может быть проще, чем сосчитать ступени при подъеме и спуске, — однако числа часто выходят разные. «Только безгрешный не собьется в счете», — уверяет легенда. В чем же здесь дело? И вдруг Улугбек понимает и, сбившись, конечно, со счета, тихо смеется. Все ясно! Лишь исступленный фанатик способен забыть все заботы, отвлечься от мира, закрыть глаза на дивную красоту этих глазурированных пилонов, не ощущать нежного запаха белых миндальных цветов и соловья не услышать, поющего за стеною в кустах фарсидской сирени. Ему б только считать да считать. Такой никогда не собьется! Мы же, грешные люди, не очень-то веря в душе, считаем ступени лишь краем сознания. Мудрено ли, что часто у нас ничего не выходит?

И, остановившись на середине лестницы, Улугбек поворачивается и начинает спускаться. Хоть сегодня и день святого Кусамы, в который правители Самарканда совершают паломничество к мазару Живого царя, а дальше не стоит идти. И годы уже не те, и ночь нынче будет такая, что лучше провести ее в обсерватории. Ведь ожидается выход Зухры ¹⁷ из треугольника планеты Зухал ¹⁸ — вестницы бед. Благо, свита осталась внизу, и никто не узнает, что мирза Улугбек не дошел до плиты Шахи-Зинда.

Он спускается мимо гробниц самаркандских амиров, принцев, беков, принцесс, мимо ниш с саркофагами верных сатрапов Тимура. Все кончается здесь. Но и вся эта каменная мощь и красота не для мертвых. Им уже ничего не надо. Это все для живых. Пусть глупо,

¹⁷ Зухра — планета Венера

¹⁸ Зухал — Сатурн

немного смешно, но в том есть и тайная мудрость. Надо жить для живых.

Погруженный в себя, что-то шепчет мирза и, все убыстряя шаг, спешит к высокой арке входного портала. Небо в ней уже совсем потемнело. Сзади на холме догорает в пыли закат, а в синей арке появился рожками вверх бледный, как молодое арбузное семечко, месяц.

Улугбек доволен, что так, походя, вовсе того не желая, разгадал тайну лестницы.

Он что-то бормочет, улыбается чему-то своему и, конечно, не видит в тусклом мраке какой-то высокой гробницы черной тени и шепота тоже не слышит: «Кафир! Нечестивец!»

Вот и портал. Он построен самим Улугбеком от имени младшего сына Азиза, любимого сына. Громадная арка, в ней — малый портал и малая арка с резными дверями, купола на стене и синяя вязь из глазури.

Здесь встречают его царедворцы, ученики и охрана. Чадающие факелы рассыпают горячие блики на шлемах и медных щитах, на румийских кольчугах, на лалах чеканных, богато отделанных сабель.

— Ты не забыл ли, какой ныне день? — спрашивает мирза любимого ученика Али-Кушчи.

— День или ночь, господин?

— Это как тебе более мило, — смеется мирза.

— День Живого царя, ночь богини Зухры. День кончается. Выехав из Железных ворот, мы успеем к восходу Зухры. От Шахи-Зинда до Кухека час хорошей езды.

Улыбнулся мирза.

— Я вас всех отпускаю, — приложив руку к сердцу, поклонился он свите. — Кончается день амира, наступает пора Звездочета. Рахмат¹⁹. Благодарю, что разделили со мной тяготы паломничества. Вечер нынче выдался душный. В такую пору лучше укрыться в саду у фонтанов, а не бродить по кладбищам. Но да будет с нами милость святого Кусамы.

В это же время на другой стороне Афрасиаба, откуда виден базар и минареты великой мечети Биби-Ханым, старый мулла в белой чалме и черном халате запирает небольшую кладбищенскую мечеть. Он шептал суры Корана, готовясь к пятой вечерней молитве. Навесив длинный винтовой замок из красной меди, прочел десятую суру. Запирая ключом, прочел суру шестнадцатую: «Скажи: истинно, от Господа твоего низводит его».

Затем сел на ступеньки, поцеловал священные четки из финиковых косточек. И совершил глубокий поклон.

Он не видел, как черная тень скользнула откуда-то сверху, из зарослей пыльного чертополоха. Как слилась она с темным квадратом обращенной к восходу стены.

И словно дуновение ветра, словно шелест травы:

— Нечестивец вернулся с полдороги. Не дошел до конца священной лестницы. Что-то шептал и чему-то смеялся. Мысли его были далеки от молитв и благочестия. Он собирается этой ночью на свой богомерзкий Кухек.

— К вам пришел посланник наш, — пробормотал мулла пятую суру, — он ясно укажет вам многое из того, что скрыли вы...

Он быстро спрятал ключи от мечети и финиковые четки. Молча спустился по лестнице, чуть подпрыгивая, поспешил к базару. Со всех минаретов муэдзины уже скликали мусульман к вечерней молитве. Закончился день, закрылась торговля. Пора было обратить сердца и мысли к Аллаху, чтобы достойно встретить опускающуюся на город ночь.

И непостижимым образом после вечерней молитвы, именуемой «саят аль-иша», которую совершают в начале ночи, весь Самарканд уже знал, что мирза Улугбек не исполнил ежегодного паломничества к могиле Живого царя.

— Вон скачет он к Железным воротам, кафир, — шептал налитый кровью здоровенный рыбак, только что заглянувший в лавку почтенного продавца халвы, и пальцем указывал на двух всадников, проскакавших мимо погруженной в ночную тень базарной стены. И все, кто

¹⁹ Рахмат — слова благодарности

были в лавке, поспешили выйти на улицу, где не слепил их плавающий в масле красный огонек фитиля.

— В обсерваторию едут, — доверительно сообщил рыжий, чуточку косой меняла, державший контору у ворот Шейх-Заде. — Не знаю, было это или нет, но говорю, что слышал от людей, — они там, на холме Кухек, молятся иблису ²⁰.

— И я это слышал, — кивнул торговец мантами. — А еще говорят, что джинны — духи пустыни — уносят его в небо, чтобы мог он получше разглядеть, как пляшут черти вокруг адских огней.

— Откуда же адские огни в небе? — усомнился вдруг рыбник.

— А разве звезды не адские огни? — запальчиво спросил его торговец мантами, и щека его нервно задергалась.

— Я слышал, что звезды — это очи Аллаха, — пожал плечами рыбник и, сунув руку под ватный халат, поскреб у себя под мышкой.

— Один святой калантар сказал мне, что звезды — костры иблиса! — завизжал торговец мантами.

— И мне так говорили, — подтвердил хозяин лавки — продавец халвы. После этого все вернулись в лавку и сели играть в мейсир ²¹.

— Мирза Улугбек едет, — тихо улыбаясь, сказал сундучник и поглядел вслед всадникам.

Он сидел под стеной бани, держа в руках лепешку и глиняную пиалу с пловом. Кусок лепешки с горкой риса он отдал присевшему рядом студенту медресе.

Тщательно обсосав острую косточку и вытерев жирные пальцы о засаленный синий халат, студент с сожалением посмотрел на свой хлеб. На ломте его лепешки осталось лишь немного риса с желтыми глазками моркови и разваренные волокна зеленой редьки. Мяса уже не было. Да и много ли мяса в базарном плове, что покупают сундучники? Смахнув рис с лепешки прямо в рот, студент спросил:

— Кто, вы говорите, едет?

— Мирза Улугбек только что проехал, — сказал сундучник. — Вон, поглядите. Там, в конце улицы...

Но только четкими силуэтами, словно вырезанными из черной бумаги, виднелись всадники, скакавшие прямо на вечернюю зарю.

— И это правитель всего Мавераннахра! — покачал головой студент, и конец его грязной чалмы согнал со стены разомлевшую муху. — Вай-вай, какой позор! Без свиты, без охраны, как купец или, извините, ремесленник. Разве так надлежит вести себя государю? Где пышность, величие, блеск? Где суровость, наконец, я вас спрашиваю?

— Говорят, он добрый человек, — вздохнул сундучник.

— Правитель не может быть добрым. При Тимуре, вот, люди рассказывают, народ в строгости держали. Ни воров, ни смутьянов, ни богохульников — никого не осталось, всех вывели подчистую. А теперь что? Если и казнят кого, то редко, притом без всякой пышности. Чик-чик, и готово. Словно это не казнь, не назидательное всенародное действие, не праздник, а так... что-то досадное, с чем лучше поскорее разделаться. Воры, разбойники всякие и обнаглели. Проходу от них нет. Вольнодумство опять поползло, всяк себя господином мнит, исчезло почтение к власти. Приказов, говорят, на местах не выполняют. А почему все? Бояться царя перестали! А нет боязни — и уважения нет, и послушания тоже! Вот вы говорите — добрый. Не добрый, просто никудышный государь.

— Вам виднее, вы человек ученый, — снова вздохнул сундучник и поставил пиалу.

²⁰ Иблис — дьявол

²¹ Мейсир — азартная игра

— Учение учению рознь, — назидательно поднял палец студент и, словно по рассеянности, положил на свой ломоть еще горсть плова.

— Воды! Кому холодной воды? Чистой, сладкой, холодной воды! — прошел мимо, ведя за собой ослика с кувшинами, водонос.

— Есть учение богоугодное, — жуя, поучал студент, — такое, как, скажем, у нас в медресе, а есть богопротивное, что процветает в Бухаре, в медресе Улугбека. Говорят, он велел там высечь на дверях слова: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». У мусульманина одна только обязанность: прославлять Аллаха. Остальное — от иблиса. Мусульманина и мусульманки, видите ли. Пророк учит, что «женщины вырастают в думах только о нарядах и бестолковых спорах»²². Улугбек же хочет, чтобы они стремились к знанию. Он разрушил порядок, хочет веру разрушить, разрушит и государство. Попомните мои слова. Нет, при Тимуре было лучше.

— Но разве могли бы вы так отзываться о Тимуре, как говорите сейчас о мирзе? — улыбаясь, спросил сундучник.

— Тьфу, — плюнул студент и, сунув за пазуху кусок лепешки, взял с земли свою истрепанную книгу. — В том-то и беда, что порядка и строгости нет в государстве. О Тимуре даже думать плохо боялись. Не то что теперь. А все кто виноват? Улугбек!

Он поднялся, отряхнул себя сзади и собрался идти.

— Развратничает с иноземными танцовщицами у себя в саду, — сказал студент, уходя. — А гаремом пренебрегает. Он и мусульманскую семью уничтожит! Вот увидите. Вы знаете, что сегодня этот богоотступник не пожелал почтить гробницу святого Кусамы?

— Да-да, — печально поцокав языком, согласился сундучник. — Народ об этом говорил после вечерней молитвы.

— О! — указуя перстом в небо, покачал головой студент. — Народ еще не знает всего. Если бы люди только знали, на что способен этот богохульник. Он... — Студент наклонился к самому уху сундучника и жарко зашептал: — ...плюнул на священные камни и притом расхохотался.

— Аллах акбар! — ужаснулся сундучник.

— Да, почтеннейший. Плюнул и расхохотался. Но тут раздался замогильный голос нашего вечно Живого царя: «Не быть кафиру правителем в Самарканде!»

— Ой, что творится в нашем городе! — закатил глаза сундучник.

— Тише, тише, почтеннейший, — зашипел студент. — Не привлекайте внимания. Послушайте лучше, что было дальше. Все это собственными глазами видел и слышал своими ушами один калантар из братства молчаливых и постигающих. Этот благочестивый человек видел, как пошатнулся и побелел Улугбек, услышав голос из каменного склепа. Сломая голову кинулся он прочь от гробниц Шахи-Зинда. А калантар узрел тень самого святого Кусамы. «Поведай все, что видел здесь, людям, — велел ему святой, — и пусть каждый, кто узнает об этом, расскажет остальным. Тогда только забуду я оскорбление, которое нанес мне Самарканд в лице своего правителя». И еще сказал калантару святой, что не будет счастья самаркандцам, пока не смыто оскорбление святынь Шахи-Зинда.

— Что же будет теперь? — затосковал простодушный мастер. — Чем кончится?

— Не удивительно, что вы не продали сегодня ни одного сундука. Завтра тоже, верно, так будет. Пока все самаркандцы не узнают правду о посещении Улугбеком мавзолеев Афрасиаба, не будет удачи ни в торговле, ни в ремесле. Так что торопитесь, почтеннейший, исполнить волю святого Кусамы. Спасибо вам за угощение.

Глава пятая

Один только враг — это много, беда,

²² Коран (43, 17)

А сотни друзей — это мало всегда.

Рудаки

Звезды уже заблестели на небе, и месяц набрал полную силу, когда Улугбек и верный его Али-Кушчи подъезжали к подножию холма Кухек. Здесь, на этом знаменитом холме, по велению Улугбека, в год хиджры восемьсот тридцать второй была построена обсерватория, равной которой не было в то время ни на Западе, ни на Востоке.

«У подошвы Кухека мирза Улугбек воздвиг огромной высоты трехэтажное здание обсерватории для составления астрономических таблиц», — писал потом Захириддин Бабур, государь и поэт, автор великолепной «Бабур-намэ», где есть, в частности, и такие, тоской исполненные, строки:

Что мне хула, что мне хвала, что мне, Бабуру, мненье людей?
Цену познав злу и добру, в мире земном я так одинок!

На скальном грунте, у самого арыка Абирахмат, построил Улугбек громадную круглую башню и покрыл ее самыми лучшими изразцами, на изготовление которых ушло много золота, серебра и бычьей крови. И так чиста, так глубока и прекрасна вышла глазурь, что даже при свете звезд, когда голубая нить неотличима от белой, был виден цветной узор.

Современник Улугбека, великий историк Абу-ар-Раззак Самарканди писал:

«К северу от Самарканда, с отклонением к востоку, было назначено подходящее место. По выбору прославленных астрологов была определена счастливая звезда, соответствующая этому делу. Здание было заложено так же прочно, как основы могущества и базис величия. Укрепление фундамента и возведение опор были уподоблены основанию гор, которые до дня Страшного суда обеспечены от падения и предохранены от смещения. Образ девяти небес и изображение семи небесных кругов с градусами, минутами, секундами и десятymi долями секунд, небесный свод с кругами семи подвижных светил, изображения неподвижных звезд, климаты, горы, моря, пустыни и все, что к этому относится, было изображено в рисунках восхитительных и начертаниях несравненных внутри помещений возвышенного здания, высоко воздвигнутого. Так воздвигнут был высокий замок, круглый, с семью мукарнасами. Затем было приказано приступить к регистрации и записям и производить наблюдения за движением Солнца и планет. Были произведены исправления в новых астрономических таблицах Ильхани, составленных высокоученым господином Ходжой Насир-адином Туей, чем увеличилась их полезность и достоинства...»

Резвый ахалтекинец мирзы уже почувствовал прохладу арыка и, прядая чуткими ушами, уловил далекий звон тугой струи в кувшине, а хозяин его различил в ночи белое покрывало красавицы, изогнувшейся над быстрой водой. Али-Кушчи на соловом своем карабаире еле поспевал за Улугбеком. В клубах удушливой пыли летели всадники, высекая искры подковами сытых нетерпеливых коней.

Запахом свежей листвы и мокрой земли повеяла на всадников ночь, когда подъехали они к подножию холма. На излучке арыка под старым карагачем приютилась убогая чайхана. На коврах возлежали богатые дехкане из окрестных кишлаков, мелкие ремесленники и мастера, состоявшие при обсерватории, молодые математики и астрономы. Ароматный кок-чай, свежую лепешку, зимнюю дыню с твердой, цвета обожженной глины кожурой да кувшин мусальяса — густого вина Самарканда — вот все, что мог предложить чайханщик Али своим постоянным клиентам. Зато каждый знал, что после первой молитвы у Али уже готова горячая похлебка из требухи, жирная и клейкая, сулящая здоровье и бодрость до глубокой старости, а сытость — до следующего утра, когда ни свет ни заря на заднем дворе чайханы разведут огонь под котлом и станут толочь чеснок в ступе для соуса, которого

каждый кладет в похлебку по вкусу, кто сколько хочет.

Сам мирза Улугбек любил отдохнуть здесь в тени. Он ложился на простую кошму и прихлебывал чай или своими руками резал огромный арбуз, который чайханщик охлаждал прямо в арыке. И вдруг смолкала беседа на ковровых настилах, остывал неразлитый чай, а люди неловко перешептывались, пытаясь не глядеть на мирзу и вести себя как ни в чем не бывало. Улугбек все видел. Но не мог понять, почему это люди так резко преобразались. Мирза угощал учеников и шутил над пузом Али, что с каждым годом толстело все больше. И смеялась с ним вся чайхана, но... чуточку громче и чуточку дольше, чем обычно смеялись над пузом Али. Улугбек это чувствовал. Он покидал чайхану озабоченный, разочарованный, с тайной какой-то тоскою. Но всякий раз, проезжая мимо древнего карагача, придерживал коня, чтобы перекинуться словом с Али, а то и зайти к нему в гости. Может, надеялся правитель, что все будет иначе, чем всегда, или просто старался не помнить о чувстве недоумения, даже обиды, которое уносил из чайханы.

Али, как всегда, поджидал у дороги. Кланяясь и сопя от натуги, руками зазывал он в свою чайхану. Но сегодня Улугбек Гурагон проскакал мимо, только мелкие камешки брызнули из-под копыт ахалтекинца да клубы удушливой пыли тонкой мучицей легли на одежду Али. Амир потому и амир, что, если угодно ему, он может попросту не заметить любого из подданных. И спокойно вернулся Али к своему очагу. Проскакал властитель. Не придержал коня, не одарил мимолетным взглядом. Если бы даже чайханщик распростерся в пыли на дороге, и тогда бы его не заметил мирза. Железные подковы благородного коня ударили бы по телу простертого раба... Но и это бы было как надо. Так и должно вести себя тем, над которыми только Аллах. Посещение же властителем убогой чайханы было просто капризом, странной причудой, от которой всегда становилось неловко. А разве может неловкость испытывать раб за амира!..

Улугбек видел Али, освещенного красной полоской из окна чайханы. Видел он, как огромный сопящий чайханщик пригнулся к земле и махал руками, словно перевернутая на спину черепаха. И странная мысль вдруг пришла ему в голову. Он подумал, что жалкая та чайхана переживет и Али, и его, Улугбека, и, наверное, даже далеких потомков его. Время разрушит обсерваторию, пески занесут гордые мраморные дуги звездного инструмента, а эта харчевня так и будет стоять у арыка. Подновляясь время от времени, вечно будет стоять она здесь, потому как нет вокруг более удобного места. Что бы ни случилось с народами и городами, люди будут стремиться всегда к тени дерева и прохладе бегущей воды. Значит, будут стремиться сюда, в чайхану. Разве только арык Абирахмат обмелеет...

Не Бог весть какой глубокой была эта мысль, но почему-то остро кольнула она сердце мирзы, глухое обычно к таким исконным человеческим чувствам, как зависть, мелочность и жажда славы. Никому не завидовал Улугбек, был широк душой, неподозрителен, славы хотел, но не заgrabной, а такой, какая дается при жизни мудрому среди мудрых. И была у него эта слава. В чем же дело? С поворота дороги он видел уже свою башню. Блестела она под луной глянцево-молочным огнем. Очень прочной казалась, неподвластной превратностям мира, построенной на века.

Но тем сильнее кольнуло в сердце сопоставление ее с жалкой чайханой, что казалось оно нелепым и что где-то в тайне сознания Улугбек увидел вдруг поверженной изразцовую башню и почему-то желтые тыквы на тростниковой крыше чайханы.

Улугбек чуть сильнее сжал чуткие бока коня, и ахалтекинец пронесся мимо согнувшегося чайханщика, высекая песчинки и искры ему в лицо.

У ворот обсерватории встретили Улугбека друзья. Помогли слезть с коня, приняли повод. За оградой заливался соловей и среди черной зелени благоухали цветы. В раскрытых чашечках переливались капли нектара. Мохнатые бабочки носились, гудя, с цветка на цветок, касаясь на лету лепестков хищными изогнутыми хоботками. После душного дня разгоряченному телу особенно приятна была ночная прохлада и эта почти неожиданная свежесть. В лунном неистовом свете, хотя до полной луны оставалось еще шесть дней, лица людей, и дорога, и цветы за оградой казались белыми.

Улугбек оглядел их всех, все еще находясь во власти той мысли. Он почувствовал вдруг, что стал стар, и эти люди его, которых давно знал и любил, тоже постарели вместе с ним. Тоскливо и смутно стало ему. Недавний подъем, лихорадочное какое-то нетерпение, с которым скакал он сюда, сменились усталостью и разочарованием. И еще охватила его щемящая жалость ко всем этим людям и, в этом он не хотел сознаваться, к себе. Часто, очень часто, во время ночных бдений он ощущал величие и недостижимость той высокой цели, к которой стремился. Теперь он познал и тщету ее. Разве звезды хоть что-то изменили в жизни людей? Гончары шлифуют на своем кругу горшки, а медники выбивают чекан на кувшинах, дехкане терзают кетменями сухую глину, и мираб обходит арыки, проверяя, высоко ли стоит вода. Что им до звезд? Если исчезнет эта обсерватория у подножия холма, разве хоть что-то изменится в повседневной их жизни? Зачем же это сверхчеловеческое напряжение, зачем эти бессонные, до рези в веках, ночи? Неужели только для себя?

Он видел над собой эти звезды среди чужих равнин ребенком в далеких походах Тимура. Звезды Индии, Армении, Афганистана, холодные звезды Отрары, под которыми умер в последнем походе на Китай дед Тимур. Сколько он помнит себя, желание знать было самым сильным его желанием. Разгадка неведомого всегда была для него самоцелью, независимо от того, что проистекало потом. Значит, все, что он сделал, было подчинено одному — снедающей его ненасытной жажде? Выходит, что высокое стремление его мало чем отличалось от Тимуровой жажды завоеваний, от любви отца его Шахруха к редким книгам, от фанатизма накшбенди, обжорства чайханщика Али, сластолюбия похотливого Ала-ад-дауля? Что же тогда вообще есть жизнь человека на Земле? Или прав бессмертный Омар Хайям:

Кто мы? — Куклы на нитках, а кукольник наш — небосвод,
Он в большом балагане своем представленье ведет.
Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит,
А потом в свой сундук одного за другим уберет.

И вспомнил Улугбек день, когда закончилось строительство его медресе в Самарканде. С желтизной тигрового глаза сравнил поэт оттенок обливных глазурованных плит, которыми облицевали стены и все четыре минарета. Как в зеркале, отражались в них проходящие мимо люди. Синева четырех ребристых куполов затмила синеву весеннего неба, а роспись квадратная портала превзошла даже роспись на Белом Дворце, построенном в Шахрисабзе Тимуром.

«О, чудо! — восхищался Бабур. — Громада его, подобная горе, твердо стоит, представляя остов, поддерживающий небеса. Величественный фасад его — по высоте двойня небесам. От тяжести его хребет земли приходит в содрогание. Могущественный мастер карнизы высочайшей степени высоты соединил в один образец со сталактитовой работой небесного свода».

Тридцать лет минуло с тех пор... Как один день пролетели они. Куда все это делось, куда ушло безвозвратно? Молодой и стройный стоял тогда он среди мастеров. Каменные блоки, груды битого кирпича, засыпанная щебнем земля. И словно окошки в облачной завесе, сверкали среди сора и щебня густо-синие осколки глазури.

Стараясь не выпачкать праздничные чекмени и богато расшитые халаты, важно неся среди строительной разрухи белые шелковые чалмы, один за другим подходили к нему придворные мудрецы. Всеми владела одна только мысль — кого назначит мирза главным преподавателем своего медресе, кого сделает мударрисом. Но они не смели его спросить, лишь источали потоки лести, до небес превозносили красоту медресе и мудрость строителя. Наконец кто-то не удержался и все же спросил.

— Где-нибудь, пусть даже в дальних странах, сыщется человек, сведущий во всех

науках. Его-то и сделаю я мударрисом, — лукаво ответил тогда Улугбек. — Я найду этого мудреца, даже если придется обойти полсвета.

— Зачем далеко искать, мирза? — поднялся вдруг человек из-за груды битого кирпича, из тени влажной еще стены, которую рабочие собрались только протереть опилками. Был он грязен и бос, весь закапан известкой, халат его казался рыжим от кирпичной пыли. — Я тот человек, который вам нужен!

Придворные мудрецы расхохотались и осыпали оборванца насмешками.

— Зачем вы смеетесь надо мной? — спокойно и просто спросил он их. — Разве виновато железо, что сырость оставляет на нем красные пятна своих слез? Разве не огнем проявляется его сверкающая сущность? Испытайте меня огнем словесной битвы, потому что я заявляю о своем праве быть мударрисом этого медресе.

— Подойдите ко мне, достойный человек, — обратился к нему Улугбек. — И докажите ваше право.

Молодой мирза задал оборванцу добрую сотню вопросов. Он спросил о звездах неподвижных и путях, по которым идут светила подвижные, о тайной природе семи планет и влиянии четырех стихий на жизнь человека, о дальних странах и живущих там народах, об искусстве лечить болезни и варить цветное стекло. И убедился Улугбек, что перед ним человек высочайшей мудрости и великих знаний. Тогда велел он отвести его в баню и облачить в дорогие одежды. Так пришел к Улугбеку мауляна Мухаммед. А в день открытия медресе он читал уже лекцию в качестве мударриса. Историк записал тогда в своей книге, что никто из присутствовавших на открытии девяноста ученых ничего не понял из лекции мауляны, кроме «самого Улугбека и Казы-заде Руми».

Где теперь мауляна Мухаммед? И где несравненный Казы-заде Руми? Где этот непревзойденный астролог и математик, один из первых преподавателей медресе? Где тот, кого все называли не иначе как «Афлотуни замон» — «Платон своей эпохи»? Где он?

Он спит теперь в глине Афрасиаба, в мавзолее, который велел воздвигнуть Улугбек вблизи самого «Шахи-Зинда». Но что с того бедному Руми? Все лишь для живых, не для мертвых...

— Я рад, что опять с вами, — приложив руку к сердцу, низко кланяется мирза, не как властитель, как путник, после долгого отсутствия возвратившийся домой.

— Вы чем-то опечалены, господин? — целует руку ему юный Мерием Челеби.

— Ничего, все пройдет когда-нибудь, мальчик. Ты поймешь это, когда станешь таким же, как твой дед, — и, кивая головой, грустно улыбается мирза этому деду — Казы-заде, любимому ученику.

Вот все они тут, живые и полные сил, пусть постаревшие, но разве в том дело? Тем и славен человек, что в поте лица, с душою, израненной скорбями и потерями, делает свое дело. Живет, пока живется. Будто и вправду он бессмертен, будто и вправду дано ему увидеть когда-нибудь плоды на воткнутом в землю черенке.

Вот рядом с ним верный Али-Кушчи. Слуги только что увели в конюшню его могучего карабаира. И вдруг Улугбек улыбается не грустной и мудрой улыбкой, а по-детски широко и открыто, и морщины под узкими глазами веселеют, борода взлетает вверх. Он просто вдруг вспомнил, что его Али-Кушчи пышно именуют «Птолемеем своей эпохи». Почему это вдруг рассмешило мирзу? Кто это может знать? И не знает никто, чему вообще он смеется. Но если смеется, значит, ему хорошо. И словно гнетущая тяжесть, висевшая над всеми, вдруг пропадает неведомо куда. Всем становится весело. Тут только придворные замечают, что пришли с факелами поэты Хэялийи-Бухари и Дурбек, в прошлый раз всех растрогавший чтением из поэмы своей «Юсуф и Зулейка».

— Будет пир, господин? — Дурбек крутит факел над головой, и смоляные брызги летят светляками. — Все уже для веселья готово в вашем Баги-Мейдане.

Улугбек огорченно разводит руками и кивает, притворно зевая, на Мансура-Каши и Мухаммеда Бирджанди.

— Видишь, ждут астрологи, поэт? Мы идем на свидание с Зухрой, так не прельщай нас

своею Зулейкой. — И он идет за ограду.

Все его пропускают и идут за ним шумной толпой.

— Не слепи меня факелом, — улыбается он огорченному Дурбеку, освещающему дорожку в саду. — Я вижу в темноте, как камышовый кот.

— Для господина приготовлено столько подарков, — притворно вздыхает Дурбек.

— И один неожиданный! — быстро вставляет Бухари.

— Наверное, твои касыды, — решает мирза. — Хотя, видит Аллах, что после божественного Низами только глупец способен пойти в поэты.

— Низами, конечно, превзойти трудно, — возразил Бухари, — но каждому времени — свой светоч. Иначе некому будет прославлять деяния государей.

— Я вот велю есаулу отвесить тебе плетей, — то ли шутит, то ли гневается вдруг Улугбек. — До завтра, друзья, — прощается он у дверей своей башни.

Все послушно расходятся, а он еще долго стоит и смотрит, как по темным аллеям мелькают огни уходящих. Он не спешит на свидание с утренней и самой яркой звездой. Есть еще время. Его астрологи и математики уже поднялись по винтовой лестнице и ожидают на плоской крыше, где в огромных горшках цветут померанцы, благоухая на весь этот сад и на всю эту ночь.

Может быть, ожидание, предвкушение того, что только сбыться должно, когда неясно еще, каким оно будет, и есть то главное, для чего мы живем? Жизнь подобна погоне за всегда убегающей дичью.

Он досадует на себя. Только что было в груди предчувствие истины. Сердцем своим он уже понимал, вернее, чувствовал то, что зовут смыслом жизни. Но лишь попытался излить это чувство в слова, как все исчезло. Осталось недоумение и досада. А тут еще Бухари так некстати подвернулся. Он, кажется, обидел его, но не беда: несправедливость к подданным — добродетель государя... А чувство то странное даже вспомнить нельзя. Все прогнало нелепое уподобление жизни убегающей дичи. Так всегда убиваем мы сущность словами. Слова — это мертвые тени вещей. Еще сильнее досадует он. Вспомнил о дичи и тут же припомнил потерю. Недавно пропал его список, который он вел аккуратно, наверное, лет с десяти. Пропал этот список им лично подстреленной дичи. Пропали все тигры, газели, олени, коты камышовые, рыси, фазаны и цапли, болотные вепри, лебеди и каракалы — все безвозвратно пропали, хотя жили давно лишь на бумаге, жили, как тени, в словах. Как будто не столь тяжела потеря. Он многое в жизни терял, а сколько еще суждено потерять! Даже себя мы ежедневно, нет, ежесекундно теряем, превращаясь в других, никому не известных людей. Только медлительность внешней формы позволяет узнавать друг друга и не видеть тех изменений, которые время постоянно приносит. Мы едва узнаем друзей, которых не видели с детства, а часто даже не узнаем. И немудрено. Это совершенно чужие нам люди. Чужие не только по внешнему виду. С ними вновь предстоит познакомиться, попытаться проникнуть в их души. Но зачем? Чтобы вновь и терять и знакомиться, борясь с постоянной утратой? Да, борьба с постоянной утратой — это больше похоже на жизнь, чем охота за дичью... Снова о дичи. Как будто и вправду потеря невелика. Но почему так жаль ему список? Так жаль его первой строки? Он писал ее, макая тростинку в китайскую тушь под бдительным оком строгой бабушки Сарай-Мульк-ханым. Как давно это было!..

Дед часто хвалил его память. А что, если вправду попробовать вспомнить тот список? Припомнить все эти ловитвы, погони в лесах, скачки в степи, стрельбу из лука, собачью травлю, засады у водопоя, охоту с соколом и беркутом, когтящим рукавицу, нахохлившимся под черным колпачком? Если все это припомнить? Увидеть вновь, какая и кого стрела настигла, кого достал беркут...

И, твердо надумав возобновить утраченный список, Улугбек решительно входит в башню. Уединяется в своем кабинете на втором этаже, где достает из индийского перламутрового ларца бумагу и пенал с писчими принадлежностями.

При свете бронзовой лампы, изображающей дракона, — подарок деда — он вспоминает и записывает, вспоминает и записывает, пока не настает время подняться на

крышу наблюдать противостояние колдовской зеленой звезды.

И ночь та навсегда останется в памяти людей, хотя узнают они о ней лишь от комментатора ученых трудов Улугбека, молодого Мериема Челеби.

«В ночь святой пятницы седьмого дня месяца раби ас-сани в год хиджры... когда Зухра...»

Но что, собственно, случилось в ту ночь? Мирза Улугбек по памяти восстановил список убитых им птиц и зверей — он вел его с самого детства, — а потом наблюдал противостояние яркой звезды, которую все народы отождествляют с богиней любви и материнской силой природы. Вот и все. Больше ничего не случилось в ту ночь накануне седьмого дня месяца раби ас-сани.

Глава шестая

Смертным ядом, из розовой чаши ладоней твоих, Я, как сладким гулабом, как чистым вином упоен.

Саади

Когда красавицу Шираза своим кумиром избери, За родинку ее отдам я и Самарканд и Бухару.

Хафиз

А ежели что и случилось, об этом не сказано в комментариях Мериема Челеби, поскольку писал тот лишь об ученых трудах Улугбека. О личной же жизни мирзы писали другие историки. Но даже у государей личная жизнь не всегда протекает на людских глазах.

Сразу, как сделалось небо зеленым, но еще до зари и до первой молитвы ас-субх, которой встречают зарю, Улугбек покинул башню. Его астрологи разбрелись по кельям, чтоб хоть немного соснуть, а он, никому не сказавшись, спустился по лестнице и скрылся в саду. Он шел по тяжелому после ночи песку, раздвигая росистые, приятно холодные ветви. Все твари ночные давно возвратились домой, а птицы еще не проснулись, и было так тихо, что гулким казался скрипящий песок под ногами. А шелест змеи показался мирзе свистом ветра. Она проскользнула в траве, оставляя серебряный след. Ночные цветы еще не закрылись, и запах их, свежий и горький, казался разлитым в росе. Он долго чудился Улугбеку, пока не вышла дорожка к воде. Здесь пахло травой, знобким молочным туманом и еще, конечно, темной бегущей водой.

За арыком дорога пошла по холму среди кольев, к которым были подвязаны старые лозы. Улугбек пересек виноградник и свернул к небольшой, хорошо защищенной от ветра ложбине, где стоял одинокий шалаш. Над черным отверстием входа сушились долбленные желтые тыквочки с грубым узором. На базарах они продаются десятком за грош. Их задумал Аллах специально для наса. Ядовито-зеленые горы этого зелья, что всегда продается у входа, такая же неременная принадлежность базара, как и тыквы. Но вряд ли о тыквах он думал. Точно такие же желтые тыквы мелькнули вдруг прошлым вечером на тростниковой крыше чайханы, когда внутренним оком увидел ту чайхану невредимой через многие тысячи лет. Но утро прогоняет и тени, и страхи, и думы ночные. Мирза рассмеялся теперь, когда тыквы увидел. И, тут же забыв о них, влез осторожно в шалаш.

— Я пришел к тебе, любимая, как только расстался с небесным твоим двойником, — прошептал Улугбек, опускаясь на вялые влажные листья.

— У меня есть двойник, государь? — еле слышно спросили из душной тьмы шалаша.

— Только самая красивая звезда в небе. Так же, как и ты, она приходит лишь вечером или утром, потому что ночи ее принадлежат другим. Ее, как и тебя, зовут Зухрою.

— Но у меня другое имя, государь!

— Ах, оставь мне хоть имя! Пусть другие зовут тебя, как им угодно. Для меня ты Зухра

— яркая и недостижимая звезда, чей путь в небе с тоской и восторгом следят астрологи.

— Но на земле для государя нет недостижимых звезд.

— Потому и люблю тебя столь жадно и горько, что ты так же недостижима, как и она.

— О государь, если бы только ты пожелал...

— Нет, Зухра, нет! Правитель может любую девушку взять к себе в дом, он может даже возвысить ее и сделать женой, не слушая людских пересудов. Несправедливый, жестокий правитель забирает жену у любого из своих подданных. Но только слепой тиран способен отнять жену у друга. Потому-то надзвездные бездны нас разделяют, Зухра! Мухаммед-Тарагай не может того, что, наверное, сделал бы амир Улугбек, будь он слепым, неразумным тираном.

— Я понимаю тебя, государь. Но разве сейчас не отнимаешь ты жену у друга, разве не оскорбляешь?.. Прости неразумную, государь! Я просто обмолвилась. Это слово обидно, и его нельзя отнести к государю.

— Может, я лгу себе, Зухра, но мне кажется... Понимаешь, я обманываю и, конечно, оскорбляю друга, но не как правитель, а как грешный простой человек. Сейчас мы равны с ним. Он может подстеречь нас и послать справедливую стрелу не в амира — в ночного вора. Разве можно понять на рассвете, кто прокрался в шалаш...

— О, спаси нас, Аллах! Пусть на меня одну падет его гнев! Я умру счастливой, зная, что ты невредим, мой амир.

— Не амир, Мухаммед-Тарагай. Это воистину так, звезда позднего моего рассвета. Воруя счастье, я перестаю быть правителем. В этом можно печальное даже найти утешение. Поступи я, как мог поступить неразумный тиран, покажу я тем самым, что я выше, что я недоступен ни гневу, ни мести его, оскорбленного. Ты понимаешь? А воруя, я будто бы всем говорю, что просто боюсь, как боится простой и счастливый любовник. Понимаешь? Я выгляжу ниже, чем он. Я боюсь его! Значит, унижен неон. Я унижен...

— А я? Обо мне ты не думаешь, мой государь?

— Со слезами я буду целовать твои следы, когда ты уйдешь. Я прожгу себе сердце невидимыми для мира слезами, когда возвращусь в Самарканд. Но я не могу быть справедливым к тебе, как не могу быть справедливым к себе. Я не отделяю тебя от себя. Я несправедлив к нам обоим, но я лишь один за то расплачусь. Мы не можем унижить его. Понимаешь? Если скажешь хоть слово, я велю его тайно убить. Только можешь ли ты мне сказать это слово?

— А ты будешь любить меня, если скажу?

— Не знаю, Зухра. Ты еще не сказала, и ты — это ты. Та, что скажет, другой уже будет. Я не знаю, какой она будет. И не знаю, смогу ли любить ту, другую.

— Ты не такой государь, как другие. И не такой человек, как другие. Я так понимаю в тебе человека, и так непонятен мне мой государь.

— Так ты можешь сказать?

— Нет, конечно.

— Ну, вот видишь! Значит, все нам дозволено, кроме нашего счастья. Нам остается только красть его понемногу, потому что не можем мы унижить человека, которого не решаемся просто убить.

— Мне так страшно любить тебя, государь.

— Страшно?

— Страшно. Я боюсь, что уже никогда не увижу тебя после того, как расстанемся. Я боюсь всего, чего даже не знаю сама.

— Я уж стар, Зухра, и поверь мне, что страх этот, который горчит в поцелуях, и эта тоска, которая гонит нас друг к другу за новой горечью, и есть любовь. Как ошибаются люди, надеясь, что и страх, и тоска пройдут и останется только чистый хмельной эликсир, что зовут любовью. Горести проходят вместе с любовью, вместе с этим волшебным недугом, безумным, сто крат добровольным мучением... Ты вечером бегала по воду? Откинув свое покрывало, согнувшись пленительным луком, ты струи ловила в кувшин?

— Откуда ты знаешь это, государь?

— Я видел с дороги мелькание белого шелка в листве.

— С дороги нельзя это видеть.

— Больной это видит.

— А я только слышала цокот копыт. Но сразу различила бег твоего благородного скакуна, хотя он скакал не один.

— За шумом воды разве можно услышать коня на дороге?

— Больная услышит.

И вновь безвременье узнал Улугбек. Ему дано было забыть, что он сед и, наверное, болен. Он понял, как может человек настолько забыться от привычных забот, что сумеет счесть дурацкие ступеньки. Он понял, что человек способен не думать даже о ступеньках, способен забыться и видеть, вместе с тем, себя худошавым и юным, как сорок лет назад. Но главное понял тогда Улугбек, зачем человеку звезды. Он понял это сразу и до конца, как бывает только во сне. Но ему было дано счастье такого забвения, в котором потонула даже эта, может быть, самая важная истина в его жизни. Она потонула, и он не вспомнил о ней потом. Но никогда, сколько ему оставалось жить, он уже не спрашивал себя, зачем человеку звезды. Словно познал это раз и навсегда и не забыл, просто не вспоминал об этом, как, не забывая и не вспоминая, всегда знаем мы, что солнце горячее, а морская вода неизбежно горька.

Но крыша шалаша сделалась вдруг видимой, и душная влажная тьма внутри перестала быть тьмой.

— Как скоро наступило это утро, любимый! Я так не хочу уходить! Так больно и трудно прощаться каждый раз навсегда. Но вот-вот закричит муэдзин...

И они расстались и разошлись, каждый в свою жизнь, о которой забыли, а она вдруг прорезалась из небытия, и зов ее рванулся в уши, как нарастающий рокот барабана. И вначале оглохшие от немоты, а потом оглушенные тем барабаном, они не заметили, как метнулась бесшумная тень в винограднике.

Что это было?

Может, лиса, хоть еще не поспел виноград? Может, красный шакал, привлеченный криком барашка у той чайханы, за ручьем? Кто его знает... Они ничего не видели. Больше же никого, как будто, не было там.

Как будто...

Глава седьмая

Ты от судьбы обмана жди и лжи.

Будь мудр, как листья ивы, не дрожи.

Ты нас учил: цвет черный — цвет последний.

Что ж головой я побелел, скажи?

Хафиз

Первый, кого встретил Улугбек, подойдя к своей башне, был человек, которого меньше всего хотелось ему видеть сейчас.

Он бы многое дал, чтобы не встретить его хотя бы сегодня, больше того, хотя бы не первым увидеть его.

И пряча глаза, и стараясь, чтоб в голосе прозвучало и равнодушие, и участие вместе с тем, спросил Улугбек, притворяясь таким озабоченным трудной судьбою правителя:

— Что тебе, верный Камиль? Ты сегодня так рано...

— Я вчера прискакал глубокой ночью, мирза. Повсюду искал вас... И вот уже час, как жду здесь. Есть срочные вести.

Мирза, зорко прищурясь, разглядывал такое знакомое это лицо. Верный темник его

говорил так же спокойно и просто, как всегда.

— Что за вести?

— О мирзе Абд-ал-Лятифе. Прибыл срочный гонец от нашего человека в Герате. Он доносит, что принц Абд-ал-Лятиф готовится к походу на Самарканд.

— Пустое, Камиль... Он не решится.

— Уже решился.

— Однажды мне говорили, что он прячется от меня под предлогом болезни. И что же? Я настоял и вызвал его к себе. Лятиф и вправду был болен. Его привезли на носилках в горячем бреду. Не то же теперь?

— Абд-ал-Лятиф открыто отложился от Самарканда. Он овладел всеми судами на Аму и отменил в своем уделе вашу тамгу. Отныне в Балхе, через который идет путь в Индию, не взимают торговые сборы.

— Пусть так. Это очень серьезно, но восстать на отца?

— Он ненавидит вас.

— Не верю, хотя это очень возможно. Но все же восстать на отца?

— Помните ли, великолепный мирза, как вы дали приют человеку, о котором говорили, что он покушался на жизнь родителя вашего, да будет земля ему пухом?

...Верно, было такое когда-то. В последние годы Шахруха жил в Герате азербайджанец — шейх Касим-и-Анвар. Разное о нем говорили. Для одних он был мистик великий, для других — откровенный безбожник, но все знали, что шариат он не ставит и в медную теньгу. Только он появлялся на улице, как сразу вокруг собиралась толпа. Он ходил как пророк, в окружении учеников. Говорили, что шейх очень близок к фанатичным раскольникам — хуруфитам. Только вряд ли он был хуруфитом. Он всегда был только самим собой. Когда он говорил, все вокруг застывали с открытыми ртами. Ловили каждое слово пророка. Он так говорил! Казалось, начни прославлять он иблиса — и все мусульмане ринутся мечети громить, проклиная Аллаха. В Герате о нем только и толковали. Когда появлялся Шахрух, известный в народе как благочестивый правитель и книжник, то толпы на улицах не собирались. Глазели, конечно, и уступали дорогу, и низко кланялись — все же великий амир. Но если рядом оказывался Касим-и-Анвар, все бросались к нему, в тот же миг позабыв о Шахрухе. Одного этого было бы достаточно, чтобы тайно пророка убить или, на худой конец, выгнать из города. Но Шахрух не спешил, хотя был он весьма озабочен и следил за пророком ревниво и пристально. И кто знает, чем бы кончилось тайное это соперничество, не будь того покушения.

Когда Шахрух молился в соборной мечети, на него вдруг кинулся с ножом какой-то безумец. Он несколько раз ударил простертого в молитве правителя и бросился бежать. Но был схвачен у выхода из мечети дворцовой охраной.

После допроса покушавшийся назвал свое имя. Это был некий Ахмед-лур — фанатичный и яростный хуруфит. Следствие далее показало, что его часто видели в свите шейха. Появилась необходимая нить, потянув за которую, было бы можно обвинить Касим-и-Анвара пусть в соучастии, если не в самом покушении. Но Шахрух был очень тяжел. Лекарь даже не ручался за жизнь правителя. Поэтому казнили одного Ахмед-лура, заверив все его показания на допросах, чтобы, если будет на то надобность, предъявить обвинение шейху.

Вопреки усилиям врачей, Шахрух, однако, поправился, и делу тайно дали ход. Но по городу все же поползли слухи, что правитель намерен казнить пророка. Люди не скрывали своего возмущения. Никто не верил в причастность Касим-и-Анвара к покушению. Напротив, говорили даже, что покушение было подстроено и раны Шахруха далеко не так опасны, как оповестил о том везир.

Опасаясь народного возмущения, Шахрух не решился казнить шейха, но изгнал его из Герата.

И тогда Касим-и-Анвар отправился в Самарканд. Ясно помнит Улугбек, как поразили его глаза шейха. Казалось, что светилось в них понимание всех проклятых вопросов

Вселенной и ленивая снисходительность к человеческим слабостям. Беседа с Анваром совершенно же покорила мирзу. Он приблизил пророка к себе и дарил его нежною дружбой до самой кончины Анвара...

Значит, теперь ему ставят в вину, что он дал приют чуть ли не убийце Шахруха.

— Кто говорит обо мне и Анваре в Герате, Камиль?

— Весь двор мирзы Абд-ал-Лятифа.

— А кто за этим стоит?

— Есть указания на то, что сильнее всех настраивает мирзу против вас его новый сейид — никому не известный дервиш из братства накшбенди.

— Значит, вновь нити тянутся к Ходже Ахрару — суфийскому пиру?

— Нет прямых указаний. Никому не известно в Герате, откуда прибыл тот всевластный сейид. Но все говорят, что царевич готовится идти на кафира-отца, да простит меня мирза за эти слова, кафира и сеятеля смуты.

— И эти обвинения, брошенные родному отцу, хоть как-то обоснованы? — темнея от гнева, спросил Улугбек.

— В вещах убитого Мираншаха, поднявшего восстание против царевича, якобы найдено ваше письмо, повелитель.

— Мое письмо?

— Абд-ал-Лятиф, во всяком случае, ссылается на него.

— Интрига довольно ясна. И неплохо задумана... Кафир, богоотступник, к тому же пригрел убийцу известного кротостью и благочестием Шахруха. Знаешь, Камиль, это дело Ходжи Ахрара. Чувствую его руку.

— Шейх ненавидит вас за тот случай, когда вы повелели своим есаулам выпороть калантаров. Сам он, как говорят, только чудом увернулся от наказания.

— Не помню такого, — покачал головой Улугбек и добавил несколько непоследовательно: — Да и давно это случилось. И я, и Ахрар были молоды. Мы можем как-нибудь зацепить его, Камиль? Я стар и не желаю войны.

— Ходжа Ахрар скупает земельные участки по всем областям. Лично или через доверенных лиц владеет он тысячью тремястами земельными наделами.

— Что в том незаконного?

— Есть нечестные сделки, принуждения к продаже угрозой, неуплата налога в казну...

— Этим никого не удивишь, мой Камиль, никого... Так нам шейха не взять. К тому же он в Ташкенте. Что еще говорят о Касим-и Анваре в Герате?

— Все то же, простите за прямоту: еретик, говорят, пригрел еретика и убийцу...

— Все понятно, Камиль... Будем ждать. Следить, как зреет зло, как постепенно сметает оно все преграды в сердце человека. Мы будем наблюдать, как созревает отцеубийца. Мне предсказали по звездам, что Лятиф принесет беду.

— Не лучше ли, мирза...

— Нет, не лучше. Мы будем ждать. Не так уж скоро он решится... А там увидим...

— Все же...

— Я скверный государь, Камиль. Ты, наверное, знаешь это лучше, чем все. Не всегда мне сопутствовало военное счастье. Удвой своих людей в Герате. Мы будем ждать!.. И что бы ни случилось, знай, Камиль, что я люблю тебя.

— Спасибо, государь... Я знаю.

И ушел мирза Улугбек в изразцовую башню, чтоб немного поспать после бессонной ночи. Еще одна ожидала его бессонная ночь — в Баги-Мейдане.

Он заснул сразу, как только лег. В это время творили уже мусульмане молитву. Но спал повелитель Мавераннахра, а в соседних кельях храпели его астрологи. На противоположном же склоне холма, в знаменитых садах Улугбека, отмолившись, стали готовиться к пиру. Об этих великолепных садах долго-долго потом говорили в народе. Постепенно рассказы о прелестях Баги-Мейдана стали очень похожи на легенду о висячих садах Семирамиды. И не

будь Захириддина Бабура — неукротимого тимурида и страдающего поэта, о садах Улугбека осталась бы только смутная, сонной улыбке подобная память.

Но говорит амир Бабур, сам не раз пиروвавший в Баги-Мейдане:

«У подножия холма Кухек, на западной стороне, Улугбек разбил сад, известный под названием Баги-Мейдан. Посреди этого сада воздвигнуто высокое здание в два яруса, называемое Чиль-Сутун. Все его столбы — каменные. По четырем углам этого здания пристроили четыре башенки в виде минаретов, ходы, ведущие наверх, находятся в этих четырех башнях. В других местах — всюду каменные столбы, некоторые из них сделаны витыми или коническими. В верхнем ярусе по четырем сторонам — айваны. На каменных столбах, посередине, беседка с четырьмя дверями, фундамент этого здания весь выложен камнем...

За этой постройкой, у подножия холма, Улугбек-мирза разбил еще маленький сад. Там он построил большой айван, в айване поставил огромный каменный престол... Такой огромный камень привезли из очень отдаленных мест. Посреди него — трещина, говорят, что эта трещина появилась уже после того, как камень привезли. В этом садике тоже есть беседка, все стены до сводов в ней из фарфора, ее называют «Чини-Хана».

Проведенные через пятьсот с лишним лет археологические раскопки показали, насколько документально точен рассказ Бабура. Потому и верим мы рассказам, что в садах Улугбека были собраны почти все растения тогдашнего мира. Ведь еще Тимур, его дед, вывозил из поверженных в прах городов семена, черенки и большие деревья вместе с их материнской землей. Улугбек же во многом стремился следовать любимому деду. Строил неподражаемые мечети и ханаки для божьих людей, чтил военный порядок, унаследованный Тимуром от чингизидов, и собирал редкости.

Разбудить правителя решился лишь самый близкий к нему Али-Кушчи. Он вошел в его келью, осторожно ступая босыми ногами, потому что мирза пугался, когда будили его внезапно. Сквозь решетку оконца бил золотой дымный луч. Улугбек спал, повернувшись к стене, в самом темном углу. На ковре, рядом с ним, лежали его инструменты, параллактические линейки, арабская астролябия, циркуль и солнечные часы из далекой Венеции. В длинногорлом и узком кувшине с водой сонно билась жужжащая муха.

Али-Кушчи осторожно присел, не решаясь коснуться спящего. А тот вдруг спросил:

— Чего тебе, Али? Пора мне встать? Я, наверное, спал очень долго?

— Вы не спите, мирза?

— Так, немного дремлю... Знаешь, я как будто нашел другое решение той самой задачи, которую так красиво решил наш Джемшид.

— Великий Джемшид! Он так высоко отозвался об атласе вашем «Зидж Гурагони», мирза, о ваших таблицах.

— Мне приятна похвала такого ученого, как Гияс-ад-дин-Джемшид. Мы с ним, правда, немного поспорили на обсуждении. Но, по-моему, мне удалось убедить мауляну.

— Все уверены в этом.

— Откуда ты знаешь, Али? Ты, мне помнится, был в это время в Ходженте.

— Рассказывал ваш Челеби.

— Мерием Челеби? Этот мальчик истину ставит превыше всего. Ему можно верить. Как он рассказывал?

— Наш мулла Гияс-ад-дин-Джемшид, говорил Челеби, спросил на собрании нескольких султанов принца, автора таблиц, почему в трактатах по астрономии сказано, что в апогее и перигее никакого уравнения нет, тогда как мы находим определение его в таблицах. Его величество ответил: «В мои намерения не входит установить в моих таблицах уравнения для этих двух точек».

— Все верно, так оно и было.

— Да, мирза. А от себя Челеби добавил, что ваш ответ Джемшиду, очевидно, правилен, и он, Челеби, обоснует это в своих комментариях.

— Ладно, пусть обоснует. Я бы хотел поразмыслить с тобою, Али, о той задаче. Она

сводится к уравнению... Дай-ка мне листик бумаги.

— Простите, мирза! Я шел к вам не с этим. У меня к вам глубокая личная просьба!

— Говори, мой кушчи ²³.

— Все мы, ученики ваши, просим выслушать нашу нижайшую просьбу.

— Я сказал: говори.

— О, великий мирза! Мы хотим вас сегодня увидеть в соборной мечети во время молитвы аль-аср.

— Что это с вами случилось?

— Сегодня день святой пятницы. Заткните врагам своим глотки, мирза.

— Мне так жалко времени, Али. У меня его мало осталось. Вы ошибаетесь, надеясь на чудо. Мое появление в мечети ничего не изменит. Напротив, оно лишь раздует угли тлеющей злобы. Ничего не получится.

— Попробуйте, принц. Умоляю!

— Кто сегодня там служит?

— Сам мухтасиб Сейид-Ашик.

Как же, старый знакомец. Он однажды незванный явился на пир во дворец. Руки к небу поднял и, к мирзе обращаясь, в глаза ему прямо сказал: «Ты уничтожил веру Мухаммеда и ввел обычай кафиров!» Какая настала тогда тишина. Чреватая взрывом, сухая, как трут. Посмел бы сказать он такое Тимуру... Отсечь ему голову? Это значит — война. Они только ждут, что правитель казнит мухтасиба. Это вызов. Оскорбление при всех, о котором сегодня узнает весь Самарканд. Но жизнь научила мирзу не торопиться. Он достаточно повоевал с самаркандскими муфтиями и бухарскими богословами, чтобы надеяться на чудо. Чуда не будет. В борьбе со служителями Аллаха победа достанется не ему. Срезать голову мухтасибу — не значит победить. Это лишь смоет оскорбление. Но начнется война, и он ее, безусловно, не выиграет... Истинный оскорбитель Ходжа Ахрар останется невредимым. Что ему какой-то мухтасиб, злобный старец, разбивающий кувшины с запретным вином? Только мизинец! Сруби — тут же вырастет новый. Нет, если уж война — так война, но с людьми, а не с Богом. Враги только и ждут ошибки. Они готовы к удару. Просто выхода нет — захватили врасплох. Бледный от гнева поднялся мирза в заколдованной тишине остановленного мира. Все с ужасом ждали, что скажет и сделает он. Но недаром великий Тимур хвалил быстроту и находчивость внука.

«Что, пришел за славой шахида? — деланно рассмеялся мирза. — Не получишь ее. Умирай дураком, балаганной куклой, которую вертят другие. — И еще он сказал те роковые слова, о которых узнали во всех городах мусульманских: — Религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена». — Так и сказал тогда мухтасибу мирза, про себя задыхаясь от гнева. Пожалуй, не стоило так говорить. А может, и стоило! Это их испугало. Они затаились, как змеи в камнях, и только шипели: «Безумен мирза! Ислам он посмел уподобить туману. Туман де рассеется... Царства, сказал, разрушаются. Так надо разрушить его нечестивое царство, пока он не разрушил ислам».

— Я как-то встречался с Сейидом, Али, — задумчиво сказал Улугбек, поднимаясь с подушек. — Стар, видно, стал я, если мне предлагают идти на поклон к мухтасибу.

— Не на поклон, государь!

— Ах, мой Али! Ты же знаешь, что старый дурак не упустит случая сказать мне новую дерзость. Я его не карал, и он не боится меня. А в мечеть я и так хожу, как добрый мусульманин. Государь может позволить себе воздать славу Аллаху в придворной мечети.

— Он вас боится, мирза, — сказал Али, пропуская мимо ушей последнюю реплику. — Смертельно боится! Потому и лезут они на рожон, что боятся. Не понимают и потому боятся

²³ Кушчи — то есть сокольничий, придворный чин Али

вдвойне.

— И сильней ненавидят.

— Да, мирза. Но в главную мечеть пойти надо. Не для них — для народа. Вы покажете всем, что чтите закон Мухаммеда, и что бы ни говорили тогда муллы, люди не очень-то им поверят. А так вы сами каждый раз подтверждаете все, что о вас говорят. Не дошли до мазара Живого царя.

— Недаром тебя называют «Птолемеем нашей эпохи», сокольничий, — вдруг рассмеялся мирза. — Ты меня, кажется, убедил. Да, кстати, я слышал, Сейида-Ашика тоже как-то зовут, и не менее пышно?

— Старый Ходжа Ахрар отзывается о нем очень лестно. Он говорит, что не было и нет проповедников, равных Сейиду, разве что сам Моисей.

— Ух ты! Как высоко! Это правда, Али?

— Говорят, государь, а там кто его знает.

— Ну, ладно, вели, чтоб седлали коней.

Глава восьмая

Покамест ты жив — не обижай никого,

Пламенем гнева не обжигай никого.

Если ты хочешь вкусить покоя и мира,

Вечно страдай, но не обижай никого.

Омар Хайям

Миновав главные Железные ворота города, едет со свитой мирза Улугбек мимо базара к соборной мечети Биби-Ханым. Он вдыхает пряные ароматы базара: перец, чеснок, верблюжий кизяк, запах жареной рыбы и угля в мангалах. Он видит его пестроту, слышит рокот прибора. Это бьет человечье море о стены базара.

Самаркандский базар! Это мелькание разноплеменных лиц и одежд, это мешанина языков, которой не было и во времена вавилонского столпотворения. Его не обойти и за день. Вон ковровый ряд, где продаются самые дорогие в мире темно-красные с хитрым узором туркменские ковры корня Теке, ковры из Ширази — рисунок их, в котором преобладают голубые тона, считается самым сложным и тонким, торгуют тут и бухарскими, и дамасскими, и шемаханскими коврами, всевозможными паласами и кошмами, попонами для лошадей, слонов и верблюдов. Нет на свете более ярких и неожиданных красок, чем те, которые сверкают под солнцем Самарканда в ковровом ряду. Разве что фруктовые и овощные лавки могут поспорить с ним. Но ведь и они расположены на том же базаре!

Белый лук с шелковой шелухой и горный лук анзури, незаменимая для плова зеленая редька, морковь, баклажаны и перцы всех форм и оттенков — грудями лежат на прилавках, и на серебряную теньгу можно закупить целую арбу. А сказочные персики, сладчайший виноград, оранжевые и белые, как воск, абрикосы, и, словом, чего только нет! Сто сортов черного кишмиша и сабзы и прозрачный зеленый изюм, который сушат, не срезая гроздей с лозы, фисташки, всевозможные орехи — от индийских до грецких, яблоки, бананы, финики, нежнейшие фиги, плоды кокосовых и масличных пальм, про дыни же и арбузы нечего даже говорить! Там ревут верблюды и брыкаются ишаки, кричат разносчики лепешек, сладостей, розовой воды и каленых орешков. Там можно съесть пиалу плова, горячих наперченных мантов, жареного барашка или обвалянную в муке рыбу, которая в котле с кипящим маслом мгновенно покрывается упоительной коричневой корочкой. Вам разрежут там лучший арбуз или дыню, угостят медовой пахлавой, нежнейшими пирожками, на которых крохотными пузырьками вскипает курдючный жир. Вас будут долго благодарить, чтобы вы ни купили: десяток барашков, гуся или утку, персиков или только горсть сиренево-серых от соли, каленых абрикосовых косточек.

К вашим услугам лучшие банщики, цирюльники и зубодеры, зеленый

сладковато-удушливый дым гашиша зовет предаться тайному пороку, а продавцы священных книг, молитвенных ковриков и четок зывают о благочестии. Каждый ряд — это особый мир со своими неписаными, но нерушимыми обычаями. На невольничьем рынке торгуют рабами, голыми, умащенными маслом для привлекательности. И торговцы девушками ведут себя совсем иначе, чем, скажем, торговцы детьми или учеными писцами. У каждого свой товар. Что же сказать тогда о тех, кто торгует верблюдами или верховыми лошадьми? Конечно, каждый ряд — это отдельное государство со своей политикой и языком.

Вон продают бесценные бухарские шкурки. Этот каракуль светится в темноте голубым призрачным сиянием. Только в пустыне Кызыл растет такая колючка, от которой овцы дают светящихся ягнят. У красного, как хна, фарсидского каракуля свой секрет, и нужно большое искусство, чтобы его разгадать. И нет, наверное, человека, для которого открыты все тайны самаркандского базара. Одни умеют читать узор ковров, другие знают тайный язык тюбетеев и никогда не спутают черную с серебром шапочку бухарца с шитым золотой нитью тюбетеем невесты. У каждой вещи — своя тайна. Для той же невесты нужны золотые тапочки, а остроносые туфли с загнутым вверх носком подходят для пожилого евнуха. Но с этим, пожалуй, легко разберется любой, чего не скажешь, конечно, о тайнах самоцветов. Здесь часто ошибаются даже самые искушенные. И все же все норовят побывать в ювелирном ряду.

Есть секреты весов, на которых взвешивают золото или серебро, есть секреты проб драгоценных этих металлов, и с пробами, бывает, разобраться куда труднее, чем с весами. При покупке же жемчуга ни весы не помогут, ни пробы. Здесь нужно уметь видеть десять цветов, где простые люди видят всего лишь один. Только тогда прихотливая игра розовых или бледных, как слезы на белых щеках юной вдовы, горошин станет открытой книгой. Но и у розового, и у белого жемчуга есть сотни оттенков, а у редких зеленых, синих и черных перлов их и того больше. И надо знать, в какое время года и суток какой жемчуг покупать. Розовый берут рано утром, сразу после первой молитвы, когда солнце не дает ему алой краски своих многоцветных лучей, белый лучше поглядеть на закате, если под оранжевым огнем вечерней зари он все равно останется белым, значит, это настоящий холодный перл, который не имеет цены. И так для каждого сорта, кроме черного, конечно, потому что, во избежание несчастья, покупающему черную жемчужину лучше свериться со своим гороскопом. Для этого и сидит в ювелирном ряду особый астролог. И синие жемчужины — ведь это цвет смерти — надо покупать, сообразуясь с велением звезд. То же относится и к самоцветам. Одни родились под звездой, которой соответствует лал, другим надобен изумруд, алмаз, лунный камень или, скажем, янтарь, хризолит и гранат. Упаси Аллах перепутать. Страшная может постигнуть беда. Но кроме звездных, есть еще камни на разные случаи жизни, ведь каждый камень что-нибудь да значит. Один способствует удаче в любви, другие охраняют от яда, третьи сопутствуют успеху в делах. Тут тоже надо держать ухо остро знать свой гороскоп и гороскопы людей, на которых желаешь повлиять, оттенки воды в самоцветах, красоту их огранки и много других очень важных вещей.

Но всего привлекательнее мелочная торговля. Она, как острая приправа к тяжелому блюду. Без нее нет восточного базара, как нет его без убогих и нищих, слепцов и шарлатанов.

Вот влажные кучки зеленого наса. Попробуй-ка отличи один сорт от другого.

Но знаток, бросив щепотку под язык, закатит глаза, посидит в холодке, и ему уже ясно, какое зелье и какая известь пошли на изготовление наса, добавил ли хозяин в него виноградной золы или белого молока опийного мака. Нас всегда продают на земле. Его горки насыпаны на белые чистые тряпки, на которых остаются масляные желто-зеленые пятна. Рядом на ковриках разложены калebasки для этого вездесущего наса, с кистями для дехкан и с серебряной пробкой — для тех, кто богаче. Садись на корточки и пробуй. Нас утоляет голод, снимает жару и усталость. Тут же ленты, бисер и трубочки для пеленашек, свои — для мальчиков и для девочек, чтобы никогда не промокали их пеленки, связки

черных бусинок с белыми пупырышками тоже для детей — от дурного глаза, а это уже для мужчин — узбекские ножи в узорных ножнах, с мутной роговой рукояткой и знаком луны, выгравированным на беспощадном лезвии.

А если проехать подальше, к площади Регистан, где стоит медресе Улугбека, а в илистых берегах сонно струятся мутные воды канала, попадешь в торгово-промышленный ряд — Тим ²⁴, знаменитый «Гильпак-Фурушан». Он стоит как раз на скрещении шести главных улиц. Там одни мастерские и лавки, в которых торгуют оружием, сбруей, кольчугами, замками, кожами, гончарным товаром и шорным, шагренью, сафьяном, шелком и шерстью. Все улочки вокруг медресе Тилля-Кари и караван-сарая Мирзан буквально забиты лавчонками и мастерскими. День и ночь там звенят молоточки и пыхтят мехи у горнов.

Пусть Регистан — старая площадь, «Место песка» древнейшего города забытой согдийской державы, но все здесь построено при Улугбеке! Разве что одно медресе Тилля-Кари воздвигнуто по заказу жены Тимура по имени Туман-ока. Все остальное строил он, Улугбек Гурагон. Вот рядом с медресе — просторная ханака ²⁵, забитая оборванными дервишами, как муравейник под трухлявым пнем. Над ханакой самый большой в мире купол из молочно-зеленой майолики. А вон мечети в южной части Регистана. Одна, соборная, построенная султаном Кукельдашем, другая — крохотная, как игрушка, подземная мечеть Мукатта, известная в Каире и Дамаске под названием Захрет Омара, а дальше лучшие на всем Востоке бани, ряды железников, огромный медный ряд и каменный помост, на нем сидят слепые дервиши, которые без перерыва весь день читают наизусть Коран, лишь изредка прихлебывая из пиалы холодный чай. Какая толпа вокруг них собирается! Кому не охота послушать святые слова? И летят медяки в чашки слепцов.

Но путь мирзы лежит не на любимый Регистан. Миновав базар, едет он прямо к минаретам и колоссальной арке, под которой все люди кажутся козявками, заползшими под тень ливанских кедров. Но ведь и впрямь они козявки на мизинце Бога. Пусть напомнит об этом лишний раз великая мечеть. И о величии и о вечности власти пусть напомнит она.

Ее построила любимая жена Тимура, китайская принцесса, которую за красоту прозвали Биби-Ханым — прекраснейшей дамой. Проводив в очередной поход стареющего мужа — великого хромца, — она решила порадовать его при возвращении мечетью, больше и прекраснее которой нет во вселенной. Все свои наряды, драгоценности и все подарки мужа, награбленные в разных городах, отдала Биби-Ханым на строительство мечети. Но главный зодчий не торопился возводить строение. Он полюбил Биби-Ханым и жил мечтой о следующем дне, когда вновь сможет увидеть ее хоть на мгновение. А так как прекрасная китаянка приезжала на строительство каждое утро, зодчий мечтал только о том, чтобы работа затянулась до бесконечности. Но, заметив нетерпение царицы, он загорелся дерзкой мыслью и предложил ей мечеть в обмен на поцелуй. А тут еще царица узнала, что Тимур возвращается домой с победой и скоро будет в Самарканде. Что ей оставалось делать? Она, конечно, согласилась, и мечеть стала расти со скоростью бамбукового побега. Но в день отделки главного портала майоликой строитель потребовал обещанной награды. Пришло, видимо, время расплаты. Зодчий обнял царицу и потянулся к ней губами. В последнюю минуту едва успела она прикрыть лицо, и жгучий поцелуй пришелся только в руку. Но жар его был столь велик, так горяча и так нетерпелива была любовь строителя, что поцелуй прожег ладонь и навсегда остался багровым следом на щеке Ханым.

Войдя в столицу, Тимур был поражен и восхищен. Царь-разрушитель был для Самарканда царем-строителем, и лучшего подарка ему нельзя было преподнести. Но мечеть мечетью, а след от поцелуя горел, взывая о мести. И было велено виновника схватить. Но

²⁴ Тим — пассаж

²⁵ Ханака — приют для странствующих дервишей

зодчий взбежал на минарет и, бросившись оттуда, на самодельных крыльях улетел в Иран.

Откуда взялись эти самые крылья? Но так говорят люди...

Эту сказку, конечно, слышал и Улутбек, и каждый раз дивился народной фантазии, которая стремится все облагородить, подкрасить, все показать какой-то волшебной стороной. Уж он-то знал отлично Биби-Ханым — так прозвали родную бабушку его Сарай-Мульк-ханым — она его воспитывала с детства. И вовсе не она велела мечеть строить, а сам Тимур, он был тогда уже стар, и бабушка навряд ли тоже могла воспламенить хоть чье-то сердце...

Вот так-то... В честь знаменитого индийского похода, в котором завладел несметными сокровищами могольских властителей, и велел построить Тимур соборную мечеть. Он специально согнал для этого сотни иноземных мастеров, и посмел бы кто-нибудь из них не так взглянуть на царицу!.. Лишь в одном права легенда — Тимур хотел видеть соборную мечеть первой в мире, чтобы по пятницам могли в ней собираться все взрослые мужчины Самарканда, все мусульмане старше тринадцати лет. А строилась она не год, не два и не три... не с быстротой растущего бамбука, конечно. За это время успел Тимур сходить и против турок, и в Египет, успел приумножить и добычу, и славу. Пора было подумать уже о том дне, когда предстанет он перед ликом Аллаха.

Биби-Ханым же, видно, тоже подумав о душе, решила построить как раз напротив мечети мужа свое собственное, конечно, необыкновенное медресе. Больше того, она ловко перекупала кирпич и глазурованную плитку с соседнего строительства и переманивала рабочих. Когда Тимур возвратился в Самарканд, то с удивлением и гневом обнаружил, что в его мечети и входной портал ниже, и плитка хуже, чем в медресе царицы. Он тут же велел повесить приставленных к строительству обоих своих султанов: Ходжу Мухаммеда Давида и Мухаммеда Джельда. И если его историки не решились сделать о том соответствующую запись, а Улугбек не считал нужным разрушать возникшую на его глазах цветистую легенду, то все равно тому был свидетель — испанский посол при Тимуровом дворе, кавалер Рюи Гонзалес де Клавихо. Он писал в своем дневнике, что больного, неспособного самостоятельно передвигаться Тимура ежедневно привозили на строительство. Лежа на носилках, престарелый властитель покрикивал на рабочих и бросал им в котлован деньги и куски вареного мяса, чем и «возбуждал их так, что на удивление». Только при бурном объяснении Тимура с царицей не оказалось свидетелей. Но зато весь двор на другой день заметил на щеке Сарай-Мульк-ханым длинную багровую полосу.

Но все равно властитель мира опоздал. Начался снегопад, и работы пришлось остановить. А вскоре великий Тимур скончался. В родном Шахрисабзе ждал его тайный подземный мавзолей и мраморный саркофаг с тяжелой плитой. Но суждено ему было упокоиться здесь, в Самарканде, в грандиозном «Гур-Эмире», бирюзовый купол которого словно напоминает о древних мистериях Согдианы — поклонении силе мужской, фаллических культах, тайной цепочкой объединивших Индию, Грузию, вайнахов и персов, Микены и Крит.

Невеселы были думы мирзы Улугбека. Уж видел он восьмигранные минареты и синий купол главной мечети, майоликовые ромбы, мог рассмотреть узоры квадратного письма, что прославляют Аллаха и истинную веру пророка его Мухаммеда. Но вдали, в пыльной дымке раскаленного неба, бесстыдной и дерзкой языческой мощью вставал круглый барабан с ребристым куполом «Гур-Эмира». Словно в насмешку над мечом ислама, который спал там в зеленом нефритовом гробу. Так весенние воды вымывают порой из глины Афрасиаба безгрешные в немудреной своей простоте терракотовые лингамы. Так прячется языческая мощь за глазурью благочестивых изречений этого мавзолея. Никуда не уйти от природы, как нельзя уйти от судьбы. Тимур опоздал со своей мечетью. Она не ляжет исполинской каменной тяжестью на чашу весов, которая должна была уравновесить злые его дела. Он опоздал. И даже тайная гробница его в Шахрисабзе, воздух в которой всегда холоден и чист, как в усыпальницах фараонов, пребудет пустой. Ее занесут пески...

И понял вдруг Улугбек, сын своего времени, что мрачный фанатизм служителей веры

— всего лишь безнадежная попытка бороться с природой, с человеческим в человеке, ханжеское целомудрие тайных развратников.

И с веселой улыбкой, готовый к борьбе, спешил он у ворот Биби-Ханым, у пештака ее — главного восточного входа. Прошел вдоль галереи резных колонн и, разувшись, ступил на мраморные, украшенные цветной мозаикой плиты двора. Вслед за ним, оставляя сапоги и туфли, вошли придворные. У главного айвана ²⁶ он задержался, поджидая спутников. Все вместе миновали раскрытые створки знаменитых на весь свет ворот, изготовленных из сплава семи металлов, и, согнув спины, ступили на цветные матрасы мечети. Осторожно прокрались на царское место.

Служба уже началась. На минбаре ²⁷ стоял Сейид-Ашик и пел скороговоркой суры Корана. Клинышек седой и куцей его бороды хищной тенью метался в овале минбара.

«Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу...»

Мирза Улугбек и его приближенные, готовясь к молитве, опустили на колени и подняли руки к плечам. Но Сейид на минбаре ничем не показал, что заметил вошедших, будто это пришли водоносы или, скажем, чесальщики шерсти. Да и чем лучше чесальщика шерсти великий амир в глазах Предвечного? Ничем. И он начал саят.

По примеру его каждый пропел «Аллах акбар» и, вложив левую руку в правую, прочел первую суру. В глубоком поклоне коснулся колен, распрямился и поднял высоко свою левую руку.

— Аллах слушает того, кто воздает ему свою хвалу, — слились воедино слова молитвы.

Опустившись на колени и носом коснувшись земли, мусульмане распрямились, не вставая с колен, и вновь распростились на полу соборной мечети.

И сразу же после молитвы аль-аср, стал Сейид обличать Улугбека. Он начал как будто бы издали, сказав, что среди прихожан есть такие, которые своим поведением смущают других.

— Среди многих своих погрешений, — сказал Сейид-Ашик, — они небрежны в исполнении веры. Не постятся, к примеру, весь месяц святой рамадан, а пророк наш велит нам поститься; оскорбляют этот святой месяц сближением с женщиной; забывают и то, что в рамадан добавляется еще одна молитва, вечерняя, в двадцать ракатов. Но что добавочная молитва для того, кто вообще не знает благочестия молитвы, — снизил до тихого шепота голос Сейид и вдруг закричал: — Что же будет, о мусульмане?! Что будет с исламом, если в небрежении верой пример подает наш мирза Улугбек?

Стоя, как все, на коленях, слушал мирза обличения старого мухтасиба — ревнителя шариата, будто его они не касались, будто Сейид говорил о другом.

— Зачем ты хочешь ввести в Самарканде обычаи кафинов? — спросил Сейид, обратившись, наконец, прямо к мирзе.

Тот медленно встал, ибо негоже стоять на коленях амиру. Только в молитве он может стоять на коленях, но мухтасиб уже закончил саят. Теперь начался просто диспут или, коли угодно, беседа.

— Если я правильно понял, Сейид, то вы уже не считаете меня блюстителем толка и удовлетворителем веры? — спокойно спросил Улугбек.

— Нет, не считаю! И никогда не считал! — запальчиво ответил старец.

— Прекрасно. Тогда мне остается спросить: считаете ли вы меня повелителем правоверных, властителем Мавераннахра, амиром Самарканда и города Бухара-и-Шерив?

Ничего не ответил Сейид, только глаза его сухо блестели.

— Хорошо, — все так же тихо, неторопливо и как-то весело продолжал Улугбек. — Я

²⁶ Айван — портал с обширной сводчатой нишей

²⁷ Минбар — кафедра

считаю молчание ваше согласием, иначе пришлось бы казнить вас как бунтовщика.

Вздых пролетел по мечети и тут же замер. Но Улугбек будто не слышал ни вздоха, ни наступившей затем тишины, спокойно беседовал с мухтасибом, словно были они одни с глазу на глаз.

— Итак, считая, что вы признаете во мне своего государя, я не гневаюсь на ваши упреки по части веры, хотя несправедливы они и недопустимы по форме. Но пусть нас рассудит Аллах... Прощаем же мы ворчание старых наставников, даже наших рабов, что потеряли и зубы и волосы, ходя за нами еще с малолетства. Но мне больно за народ мой. Ведь я государь Самарканда! Вы сказали, что не считаете и никогда не считали меня ни хранителем толка, ни удовлетворителем веры... Посмотрите же сюда! — Царственным жестом, но весело улыбаясь, указал мирза на огромный ляух ²⁸ из серого мрамора, стоящий в центре мечети, прямо под куполом. — Посмотрите и поймете, почему больно мне за народ мой, у которого такие наставники в вере.

И опять вздох пролетел по мечети. Все, кто умел читать, вдруг зашептали, а неграмотные жадно ловили этот шепот и, словно эхо, повторяли его.

А мирза Улугбек, не опуская руки, повелительно указывал на трехгранные призмы ляуха, которые с боков удерживают переплет божественной книги. На их полированных гранях, среди узоров из листьев и гроздьев лозы, куфической вязью написано было:

«Великий султан, милостивейший хаган, покровитель веры, блюститель толка Ханифи, чистейший султан, сын султана, удовлетворитель веры, Улугбек Гурагон».

— Читайте же, Сейид! — сурово сказал Улугбек. — Или я велю прогнать вас как неграмотного, незаконно присвоившего себе звание муллы.

И, повинаясь примеру тысяч шепчущих губ и повинуюсь властному приказу амира, еле слышно повторил Сейид высеченные в мраморе слова:

— ...удовлетворитель веры, Улугбек Гурагон...

— Так-то, Сейид, — сказал Улугбек. — Каюсь, если в чем-то по неведению согрешил, и очищу себя постом и молитвой. Но и вы покайтесь! Разве не знаете, что любая надпись в мечети считается Богом написанной, кто бы ее ни сделал, о чем бы она ни говорила? Будем считать, что вы согрешили по забывчивости и в забывчивости солгали. Я прощаю вас. Покайтесь, и, быть может, простит вас Аллах. Вы перед ним виновны в оскорблении мечети, а Мухаммед-Тарагай прощает вас, амиру Улугбеку хватает своих дел, он не станет лечить вашу память. Обратитесь к Аллаху, к нему одному.

Оглядел всю мечеть мирза Улугбек и, приложив руку к сердцу, чуть поклонился народу. Ибо стояли все на коленях, незаметно для себя повернувшись к амиру лицом, словно и не было в мечети Сейида, стоящего на минбаре.

И тут только очнулся старый Сейид-Ашик от сковавшего его оцепенения. Не помня себя, стал он сыпать проклятиями. Но мирза Улугбек незаметно мигнул своим есаулам. Двое из них подбежали к Сейиду и, схватив его под руки, сволокли вниз. Тот так и замер с разинутым ртом, ожидая, что его тут же отправят на плаху.

И знал Улугбек, что сегодня он мог бы казнить старика. Сегодня самаркандцы правильно поняли бы поступок амира, не осудили. Не мулла-обличитель, дрожа, стоял перед Улугбеком, а старый, выживший из ума богохульник, неблагодарный раб, которого следовало казнить за дерзость. То, что вчера было невозможным, а завтра, наверное, опять станет неосуществимым, сегодня давалось в руки мирзы. Вот она — голова Сейида-Ашика, голова врага, чей слюнявый рот стал ртом всех врагов, изливающих хулу и клевету на правителя Мавераннахра.

И знал Улугбек, оборвавший однажды во гневе жизнь четвертой своей жены, что ничего не решится, если слетит с плеч эта трясущаяся голова в зеленой чалме. Тут же появится новая, отрастет, как у сказочного дракона.

²⁸ Ляух — подставка для гигантского раскрытого Корана

И знал Улугбек, что придворные ждут от него этой головы и, может быть, ждут этого и люди в мечети. Надо показать свою силу, хоть ненадолго заткнуть шипящие рты, взмахом палаческой сабли добыть передышку. Но, кроме Самарканда, была под его рукой и Благородная Бухара. Он хорошо помнил, что бухарское духовенство, злобное, непримиримое, низложило предыдущего самаркандского амира. Именно в Бухаре черные калантары раздули невидимыми мехами пламя народного гнева против него, «удовлетворителя веры», и подняли восстание, которое лишь с трудом удалось подавить.

— Правда ли, Сейид, что вас сравнивают с Моисеем? — покусывая нижнюю губу, спросил Улугбек.

Старик испуганно закивал.

А потом случилось то, о чем поведал нам Абу-Тахир Ходжа в своей «Самарии»: «...в резких выражениях говорил наставник мирзе Улугбеку. Последний спросил: „Скажите, Сейид, кто хуже — я или фараон?“ Сейид отвечал: „Фараон хуже“. Мирза опять спросил: „Теперь скажите, кто лучше — Моисей или вы?“ Сейид отвечал: „Моисей лучше“. После этого мирза обратился к нему с вопросом: „Если Господь приказал Моисею не говорить с фараоном в грубых выражениях и даже сказал „скажи ему мягко“, почему же вы, который хуже Моисея, говорите мне, который лучше фараона, таким грубым образом?“

И, не дожидаясь ответа, повернулся и вышел мирза из мечети, а за ним вышли придворные.

А в мечети произошло такое, чего раньше никогда не бывало в храмах правоверных и, конечно, никогда не случится впредь.

Вся мечеть хохотала! Смеялись купцы и ремесленники, садоводы и огородники, водоносы и нукеры, писцы и менялы, местные воры и даже слепые бродячие дервиши. Хохотали веселые самаркандцы, знающие толк в остром слове, хохотали, закатывая глаза и тряся бородками, забыв на миг, что находятся в доме Аллаха и святотатствуют там.

А Сейид-Ашик так и остался стоять с открытым ртом посреди хохочущего люда. Надо ли говорить, что тут же об этом узнал весь город? Ведь не мудрено — весь город был в это время в мечети.

Непонятно другое: как могли узнать о том в Бухаре и Герате, а также и в других городах, задолго до того, как пришли туда караваны из Самарканда и прискакали туда гонцы?

И хохотали студенты в медресе Благородной Бухары, которое построил в годы юности Улугбек, дабы успокоить ревнивое недоверие могущественных дервишей.

Глава девятая

*Все богатства земли и слезинки не стоят твоей!
Все улады земли не искупят неволь и цепей!
И веселье земли — всех семи ее тысячелетий,
— Бог свидетель, — не стоят семи твоих горестных дней!*
Хафиз

Шумно и весело было в тот вечер и в Баги-Мейдане. Пир продолжался всю ночь. Пили самаркандское и сладкое ширванское, терпкое вино Ширази и ароматные, пенящиеся вина далекой Кахетии. Вспоминали, как во времена богобоязненного Шахруха мухтасибы ходили по частным домам и били горшки с вином, не обходя своей высокой заботой даже сиятельных тимуридов. Под такие воспоминания приятно было лишний раз приложиться к хмельной чаше. Потом мирза танцевал с верным своим Али-Кушчи, а юный Челеби ходил вокруг них с тугим рокочущим бубном.

Лежа на шелковых подушках, уставленных подносами с фруктами и сладостями, долго любовались танцем азербайджанских красавиц, совершенные прелести которых смутно лучились сквозь тончайшие дымчатые шальвары. Поэты читали стихи, острословы-шуты

высмеивали мирзу на потеху самому хозяину и славным его гостям. Чагатайский поэт Секкаки поднес властителю диван стихов и с гордостью произнес:

— Небо должно еще много лет совершать свой круговорот, прежде чем оно вновь создаст такого турецкого поэта, как я, и такого ученого царя, как ты.

Все шло, как заведено было. И всем было весело. Астрологи уговорили мирзу спеть что-нибудь из рубайат Хафиза, без которых не обходится ни один веселый пир.

Улугбек вдруг тряхнул головой, взял дутар и, как-то сразу помолодев, ударил по рокочущим струнам.

Фиал вина мне нацеди, приди!
От стража злобного уйди, приди!
Врага не слушай! Внемли зову мысли
И песне у меня в груди!
Приди!

В ночь летел этот страстный призыв, и разноцветные мохнатые бабочки отовсюду слетались на него. Кружились вокруг пылающих факелов и падали с тихим треском в коптящее пламя.

...Внемли зову мысли
И песне у меня в груди!
Приди!

Подернулись влагой глаза гостей. Не мигая, смотрел на огонь Али, что-то шептал, раскачиваясь всем телом, поэт Бухари. А молодой Челеби, казалось, глотал слезы. Только рябое, все в старых шрамах, лицо темника Камиля оставалось таким же бесстрастным, как и всегда. Он дослушал песню, встал и сошел с освещенного ковра в ночную влажную ночь.

Восхищенными возгласами наградили гости певца, а он, смеясь, передал дутар мауляне Джемшиду, сказав, что даже великому ученому не гоже в такую минуту предаваться умным мыслям. Все тут же начали упрашивать мауляну спеть. Но вдруг поднялся поэт Бухари и потребовал тишины.

— Господи, как мне надоели эти стихи, — шепнул Али Улугбеку.

— Терпи, — так же тихо ответил мирза и, обращаясь к гостям, громко сказал: — Вот власть, перед которой склоняются государи. Слово амиру касыд! Нашему дорогому Бухари слово.

— О, великолепный мирза! — поклонился поэт Улугбеку и, набок склонив голову, бессильно простер к небу вялые, тонкие длани.

Улугбек улыбнулся ему, подивившись и тот, который уж раз, как объедала Бухари, быстрый и неутомимый за пловом, вдруг поникшей становится куклой в сундуке балаганщика, как только выходит читать стихи.

— О, надежда вселенной. О, затмевающий мудростью самых великих ученых! Позволь мне в этот радостный день торжества и веселья вручить тебе то, что наполнит твое сердце неожиданной сладостью! — И, встав на колени, он обеими руками протянул мирзе несколько свернутых трубкой листов.

Улугбек поднялся с подушек, усадил с собой рядом поэта и своей рукой положил ему в рот халву и рахат-лукум. После этого только он принял подарок, подивившись, что Бухари не прочитал ему вслух эти новые, очевидно, касыды. Но, развернув свиток, он тихо вскрикнул и со слезами на глазах обнял и расцеловал поэта.

Тут же Бухари вскочил, полный сил и здоровья, и во всю мощь своего голоса крикнул удивленным гостям:

— Друзья дорогие! Сегодня трижды счастливый для нашего светоча день! Я, поэт

Хэялийи-Бухари, разыскал — если б только вы знали, чего это стоило, — победный перечень нашего принца, царственный список трофеев, добытых в степи, в камышах, в облаках.

Все знали, как жалел мирза об утрате этого списка, и втайне немного потешались над этим. Но весть о находке встретили шумной радостью и кинулись поздравлять мирзу и поэта. А Бухари, окрыленный успехом, вновь потребовал тишины.

— Я открою вам маленькую тайну, друзья! — сказал он. — Наш несравненный мирза по памяти восстановил этот список! Пусть же сегодняшний день, эта дивная ночь, эти нами любимые звезды станут свидетелями нового чуда и нового торжества этого светоча мысли, пред сияньем которого стыдливо скрывается самое солнце! — И, уронив голову на грудь, поэт вновь протянул руки к Улутбеку. Его белая бухарская ермолка упала на ковер, что было встречено веселым смехом.

Но когда смех, шумные поздравления и радостные восклицания смолкли, он подозвал к себе маленького чернокожего скорохода.

— Подними мою ермолку, Юсуф, — шепнул ему Бухари и, возвысив голос; объявил: — Сейчас я отдаю приказания! Только я! Поспешите же, о быстрый, как ветер, Юсуф, в обсерваторию! Там, в келье мирзы, ты возьмешь вновь составленный список охоты и с ним возвратишься сюда. Мы здесь сличим оба списка и станем счастливыми очевидцами великого дива!.. А потом я прочту вам касыду, которую специально сочинил в честь этого дня. Я посвятил ее не ведающей поражений памяти нашего мирзы!

— Откуда ты знаешь, мой Бухари, что память эту не ожидает сейчас постыдное поражение? — спросил Улутбек. — Боюсь, что ты поторопился с касыдой и получишь сейчас печальный урок, как не надо писать стихи загодя.

— Нет, мирза! — гордо ответил поэт. — Твоя блистательная память прославит мою касыду, а моя касыда прославит твою блистательную память.

Улутбек сам не прочь был сличить оба списка. Он даже подивился тому, что ожидает возвращения скорохода с некоторым волнением. И с внутренней улыбкой снисходя к возвратившемуся на миг детству, решил, что это будет проверкой того, насколько он постарел.

Прибежал Юсуф, и Бухари, забрав у мирзы драгоценную находку, уединился с Али сличать списки. Пока же возобновилось веселье.

Улутбек рассеянно следил за неистовым танцем обнаженной индийской апсары ²⁹. Подивился, что ступни и ладони ее были окрашены пурпуром.

На запястьях и над локтевыми сгибами были надеты браслеты. Они тонко позвякивали в такт стремительным движениям танцовщицы. Улутбек плохо знал мудру — тайный язык пальцев, — и потому смысл танца остался для него непонятен.

Он думал о вновь обретенной потере. Омар Хайям, как всегда, удивительно прав:

Все тайны мира ты открыл... Но все же
Тоскуешь, втихомолку слезы льешь,
Все здесь не по твоей вершится воле.
Будь мудр, доволен тем, чем ты живешь.

Поистине судьба преподала ему хороший урок. Он подумал, что тот, кто хочет сохранить все как есть, уже потерял это все. Хочешь уберечь свое сегодня, борись за завтра. Может быть, нам просто кажется, что старости обязательно сопутствует мудрость. А если не мудрость, а всего лишь успокоение, смиренный ток остывающей крови?

Сделать это сейчас, пока есть еще хоть какие-то силы, а потери, хотя и ждут своей

²⁹ Апсара — танцовщица

неизбежной доли, но еще медлят напасть или унести с собой в могилу? Может быть, эта находка — тайный ободряющий знак к действию? Или предостережение щедрой и беспощадной судьбы? В юности он бы не задумываясь ринулся в открытый бой. Быть может, даже победил в нем. Теперь победы не будет. Смерть всегда первой бросает свои кости. Вот и дедушка проиграл в извечной этой игре.

О мудрость старости! Не обман ли ты? Щадящий нас обман... И все же, если выскажет он свою истину и падет потом во имя ее, останется ли она в живых? Может, только усугубит его крушение, как очевидное свидетельство помешательства. Очевидное... в том-то и суть, что очевидное. Людей не заставишь поверить отвлеченным рассуждениям вопреки той очевидности, которая каждый день предстает перед ними. Солнце всходит на востоке и заходит на западе, заходит и всходит, его встречают молитвой ас-субх и провожают молитвой аль-магриб. И так от начала мира, от деда к внуку. Что же поделаешь тут? Только обрадуешь тех, кто неминуемо скажет: «Совсем рехнулся старый кафир. Теперь-то вы это видите сами, мусульмане!»

И не прав ли трижды никогда не ошибающийся Хайям?

Тайны мира, что я изложил в сокровенной тетради,
От людей утаил я, своей безопасности ради.
Никому не могу рассказать, что скрываю в душе,
Слишком много невежд в этом злом человеческом стаде.

Не о том ли самом говорит в своих рубайат великий мудрец и астролог? Сколько звездочетов до него и до нас приходили, наверное, к тому же, но прятали свои огни в пещерах, не смея поведать о них людям? Но если так будет всегда, то истина вечно пребудет сокрытой. Восходы, закаты, салют ас-субх и салют аль-магриб. Очевидность иллюзии, ее цветистый занавес, за которым в черном небе ночном — истина, равнодушная, страшная.

— Подойди ко мне, мой Челеби! — поманил к себе юношу Улугбек и улыбнулся старику факиру, который ловко уложил в корзину танцевавшую перед восхищенными гостями кобру. Факир опустил флейту из тростника и двоякоизогнутой тыквы и облизал сухой, воспалившийся рот.

Улугбек бросил старику кошелек с серебром и велел слугам угостить его холодной дыней.

Когда под рокот дугаров и бубнов на ковер вышли гимнасты, мирза усадил на подушки Мериема Челеби и подвинул ему турецкий серебряный кальян, куда только что налили свежей розовой воды.

— Я верю в твой не по годам холодный и ясный разум, мальчик, — наклонился к нему Улугбек. — Помоги мне разрешить гложущее мое сердце сомнение.

— Вы все о том же, мирза?

— Все о том, Челеби, все о том... Я не думаю, что нам должно молчать, уподобляясь осторожному и мудрому Хайяму, и знаю твердо, что нельзя говорить. Как сказать нам, умалчивая, и как умолчать, говоря, чтобы поняли те, кто в состоянии это понять?

— В своих комментариях я нашел, как будто, такие слова, государь. Почему бы не сказать нам, что «точкой, наиболее удобной для того, чтобы можно было относить к ней сложное движение, является не Земля, как центр мира, однако обычно ее относят именно к этому центру»?

— Не слишком ли осторожен этот намек?

— Те, кому надо, поймут, мирза. А враги все равно станут жалить.

— Верно... ужалят... Но мы сможем смело сказать, что, не посягая на скрижали Вселенной, придумали лишь отвлеченные вычисления для удобства наших караванов и кораблей.

— Только так, государь. Мы громко заявим вслед за Бируни, что изучение небесных тел не чуждо религии. Одно это изучение позволяет узнать часы молитвы, время восхода зари, когда собирающийся поститься должен воздержаться от пищи и питья, конец вечерних сумерек, предел обетов и религиозных обязательств, время затмений, о которых нужно знать заранее, чтобы подготовиться к молитве, которую следует совершать в таких случаях. Это изучение необходимо, чтобы поворачиваться во время молитвы к Каабе, чтобы определить начало месяца, чтобы знать некоторые сомнительные дни, время посева, роста деревьев, сбора плодов, положение одного места по отношению к другому и чтобы находить направление, не сбиваясь с пути.

— Золотые слова! — прошептал Улугбек и своей рукой набил рот покрасневшего от гордости юноши ароматным пловом из длинного шахского риса с шафраном и кардамоном.

— Послушать тебя, так надо при каждой мечети построить обсерваторию.

— Угу! — закивал с полным ртом молодой Челеби.

— Знаешь, мальчик, я все же провижу упреки в опасной ереси...

— Внимание! Почтенные гости! — растолкав музыкантов, откуда-то выбежал Бухари, таща за руку смущенного Али-Кушчи. — Прочь, прочь, музыканты! Потом... Обратитесь же в слух, почтенные гости. Вот список, который наш мудрый мирза начал вести еще в годы амира Тимура! В нем перечислено семь тысяч четыреста двадцать животных и птиц, добытых не знающей промаха стрелой мирзы и его несравненными ловчими птицами. — Бухари потряс над головой списком. — А вот... — он поднял вверх и второй свиток, — тот славный перечень, который мирза восстановил по памяти... Здесь семь тысяч четыреста шестнадцать! — воскликнул поэт и, стараясь перекричать возгласы восхищения, разъяснил: — Не хватает одной косули, одного барана горного и пары зайцев...

Поистине это был удачный день, завершившийся счастливой ночью. Когда гости, отяжелев от еды и основательно захмелев, разбрелись, кто в поисках ночлега, а кто — и ночных приключений, мирза тихонько проскользнул в сад и быстро зашагал по дорожке, голубой и пятнистой от залитых луной листьев.

Но кто-то его осторожно окликнул. Сразу узнав этот голос, мирза помрачнел. Сами собой сошлись его брови, которые все еще почему-то щадила седина.

— Чего тебе, верный Камиль? — обернулся мирза к коренастому темнику, который казался в ночи каменной бабой, поставленной стражем пустыни. Такие фигуры нередко встречал Улугбек на караванных путях, всякий раз вспоминая при этом о монгольских походах.

— Пресветлый мирза! Здесь один человек, он назвался кабульским купцом, просит вас уделить ему час для беседы. Он сказал, что дело касается тайной тетради поэта Омара Хайяма, и уверил меня, что мирзе очень важно об этой тетради узнать.

— Вот как?.. — протянул Улугбек, почувствовав снова руку судьбы. Она влекла и толкала его. Темный поток, уносящий под своды пещеры тростинку. Нет сил ни замедлить движение, ни к берегу тихо пристать — не видно вблизи берегов. Кабульский купец... Длится, длится арабская сказка. Ленивый и сонный Восток, одуревший от зноя и скуки. Здесь сплетаются вымыслы с правдой, одинаково верят бродячим певцам на базарах, мореходам-купцам и цирюльнику, что не отличает сна от яви. Здесь верят легко и жестоко карают потом за обман.

— Что еще сказал этот купец?

— Он сказал, о мирза, что его род известен в Герате и в Самарканде, а его дед был личным купцом великого вашего деда амира Тимура, да пребудет он в садах Аллаха. Купец этот также предьявил мне медную пайцзу, выданную покойным властителем мира его деду для беспрепятственной торговли во всех городах.

— Почему он пришел среди ночи?

— Говорит, что боится, как бы кто не проведал про эту тетрадь. От этого, говорит, ему будет большая беда. Завтра же, после вечерней молитвы, его караван выступает в Хиву, чтобы идти по пустыне не под солнцем.

— Это разумно, — кивнул Улугбек. — Мы примем купца. Попрошу тебя, верный Камиль, угостить, и как следует, этого гостя. А на рассвете, после первой молитвы, сведи его в башню — я буду там. Но смотри, до тех пор не спускай с него глаз! И побольше проведай, кто он, откуда, кого знает здесь в городе и кто знает его. Но помягче, за чашей вина и за пловом. Понял?

— Будет исполнено! Живи вечно, мирза. Но исчез Улугбек в черной и неразличимой листве, где мерцали ночные алмазы росы. Он, неслышно ступая, спешил проторенной дорогой в сад Звездной башни и дальше к арыку, за которым на склоне холма к крепким кольям подвязаны старые лозы.

Колдовскую планету Зухру можно раньше всего увидеть как раз над холмом, на котором разбит виноградник и сушатся тыквы на сплетенных жердях шалаша.

Шел мирза Улугбек навстречу восходящей звезде, ощущая, что ступил он на новый, судьбой уготованный круг.

Глава десятая

Тот, кто клялся мне в верности, стал мне врагом.

Муж — вчера добродетельный — стал подлецом.

Ночь делами, что завтра свершатся, чревата.

Но едва ль она добрым чревата плодом.

Хафиз

«Звездочеты и звездословы, основу всех дел и судеб связующие с указаниями звезд, тайне гадали о предстоящем по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий», — писал о том славный Гиясад-дин.

Но что бы там ни видели в небе звездочеты и как ни толковали звездословы эти знамения, кто-то перетолковывал все по-своему, и выходило каждый раз, что должна затмиться звезда Улугбека. Весь базар о том шептался, а значит, и весь Самарканд.

Из Герата новых вестей не поступало. Скорее всего, перехватили там засланных беком Камилем соглядатаев, а может, просто те не могли выбраться из города. Купцы рассказывали, что все покидающие Герат караваны тщательно осматривают и каждого расспрашивают: кто он, откуда, куда и зачем идет.

Поймали дервиша-накшбенди, у которого нашли фирман из Ташкента, из самого медресе Кукельдаша, в котором сидел со своими мюридами Ходжа Ахрар. Но смысл фирмана был темен, и дознаться, кому он адресован и о чем говорит, не сумели. Дервиш держался того, что фирман предназначен для калантаров и содержит толкование тайной суфийской премудрости, понять которую может только посвященный. О премудрости этой он отзывался весьма туманно, напирая на то, что в фирмане говорится о грядущем пророке, подобно тому как богоотступники-шииты толкуют о своем скрытом имаме. И вправду что-то похожее в грамоте калантара было. Больше ничего из него люди бека Камиля не вытянули ни огнем, ни щипцами.

Мираншах — хаким ³⁰ Самарканда взялся допросить его сам, но тоже ничего не достиг, а назавтра нашли того дервиша мертвым. Он отравился в своей клетке, в сырой каменной нише подземной тюрьмы. Камиль рвал на себе бороду, допытываясь у надзирателей, кто мог дать дервишу яд. При аресте его тщательно обыскали, за этим лично проследил бек. Но надзиратели клялись и божились, что они тут ни при чем, на все, дескать, воля Аллаха, жил человек и помер, значит пришел его срок, а в клетку к нему после допроса, учиненного хакимом, никто не входил.

Камиль потребовал у мирзы отставки Мираншаха, но Улугбек не согласился, сказав,

³⁰ Хаким — начальник города

что на основе одного подозрения нельзя обижать человека, верой и правдой служившего вот уже двадцать лет.

А потом стало и вовсе не до хакима. Разведчики донесли, что Абд-ал-Лятиф выступил из Герата во главе большого войска и движется напрямик к Самарканду.

Зажгли кизяк на сторожевых башнях, а хриплые медные карнаи и гулкие барабаны объявили поход.

Улугбек спешно готовился выступить из города. Гарнизон на внешней стене был утроен. Особо усилили охрану городских ворот. У Шейх-Заде, Фирузы, Игольных и главных Железных ворот поставили отборных лучников, подвезли туда котлы со смолой и оловом. День и ночь там палили костры. А потом настало утро, и со стен вновь протрубили тревогу хриплые трубы — карнаи. Самаркандская армия выступила в поход. Это был уже второй поход Улугбека против восставшего Абд-ал-Лятифа. Первый закончился неудачно, ибо пришлось ему вернуться назад, в Самарканд, где крутые меры заносчивого Азиза, вздумавшего так не вовремя притеснить семьи Улугбековых амиров, чуть не привели к мятежу. Мирзе угрожала реальная опасность быть схваченным в собственном войске и выданным Лятифу. С трудом успокоив взбешенных амиров, он отправил Азизу послание, в коем угрозы мешались с увещаниями, а вскоре и сам ушел с берегов Аму, где стоял войском против мятежного сына.

Была осень, и полуденное солнце жгло уже не столь ярко. И это радовало Улугбека, который всегда избегал жары. Он выступил из города тремя колоннами и двинулся навстречу неприятелю — сыну своему Абд-ал-Лятифу. Во главе первой колонны поставил любимого младшего сына Азиза, не решившись на сей раз оставить его в Самарканде, вторую повел сам, а кольчужную конницу и замыкающий тумен отдал беку Камиллю — верному из вернейших темнику.

Выслав разведчиков и отрядив головные заставы, решено было идти боевой колонной до большого караван-сарая Кублук-бобо, а там разделиться: Камиль-бека послать в засаду, а Улугбеку и Азизу идти двумя колоннами в обхват наступающих войск, которые, как донесла разведка, переправились через Аму. Шли весь день и часть ночи.

Краснели листья лозы, доходили под осенним солнцем дыни, исполинскими проржавелыми доспехами тянулись вдоль дорог хлопковые поля. Над плоскими крышами уютящихся один на другом у речных берегов и холмистых подножий домов из сырцового кирпича поднимались удушливые сырые дымки. Люди готовились к зиме, о которой уже давали знать первые ее вестники — пыльные глинистые бури из пустыни. И никого не интересовала война, которая шла меж отцом и сыном.

У караван-сарая войскам был дан однодневный отдых. Разбили палатки, разожгли костры. Чинили сбрую, точили и чистили оружие. Десятники придирчиво проверяли, все ли в порядке у их нукеров, крепка ли обувь, хватает ли стрел.

Улугбек объезжал войска. Сколько раз видел он такой вот военный лагерь накануне битвы. В походах Тимура, отца и в своих не всегда удачных баталиях. Вроде все было спокойно, не хуже и не лучше, чем обычно. Но что-то носилось в воздухе, что-то носилось...

Безнадежностью пахло в лагере.

Всех беспокоило отсутствие разведчиков. Давно бы должны были возвратиться они в лагерь. Прождали всю ночь, но и к первой молитве они не вернулись. Улугбек послал по их следам свою сотню. К полудню сотня возвратилась, везя тела убитых разведчиков. Всех их поразили сзади. Видимо, стреляли из засады.

— Это дело тайных врагов, — сказал Камиль Улугбеку. — Абд-ал-Лятиф досюда еще не дошел.

— А откуда мы знаем, когда он действительно выступил? — спросил Улугбек. — Ведь говорят же, что, взяв Термез с Шахрисабзом, он стал лагерем, ожидая подмоги местных племен.

— Как — откуда? Разведка донесла, мирза, да и те купцы, которых мы вчера застали в караван-сараяе, это подтвердили.

— Купцы? А ну доставь мне этих купцов, Камиль.

Камиль-бек выбежал из палатки мирзы и велел тотчас же сыскать вчерашних купцов. Но возвратились посланные и доложили, что купцов и след простыл. Ночью они ушли пешими, бросив ослов и лошадей, а в тюках у них оказались только скатанные кошмы и гнилые, плохо продубленные кожи.

— Далеко не уйдут! — взвился Камиль-бек. — Верхами мы их быстро догоним.

— Пустое, — устало махнул рукой проведенный бессонную ночь Улугбек. — Теперь это уже не очень нужно. Мы не знаем, где враг, и это сейчас хуже всего.

— Я вышлю усиленную разведку и цепью расставлю сигнальщиков, кто первый увидит неприятеля, сразу же оповестит нас костром, — предложил Камиль.

— Нет, не годится, — подумав, сказал Улугбек. — Пока разведчики будут искать, нас могут застать врасплох. Не успеем даже развернуться. Придется отходить назад, к городу. Думал я встретить Лятифа в степи, да, видно, предстоит выдерживать осаду. Ты прикроешь нас, мой Камиль.

— Живи вечно, мирза! — ответил темник, где-то слышавший, что так отвечали Искандеру Двурогому его македонские амиры, а может, было то вовсе промеж румийским царем и его военачальниками... Но говорить так нравилось Камиллю, а Улугбеку было все равно.

Когда остыла заря, тайно снялись и выступили в обратный путь. Впереди опять пошел Абд-ал-Азиз, и уж за ним Улугбек со своими туменами. Приказано было не греметь железом и разговоров не вести. Лошадям для предосторожности завязали морды. Но все равно гулко цокали копыта о прибитую звонкую глину, натертую до блеска обитыми железом ободами. Казалось, что даже звезды отблескивают в этих наезженных колеях.

Ехали степью, где слабо белели в ночи осыпающиеся семенами мохнатые ветви саксаула. Кое-где в прибитой глине, как слюда в граните, посверкивали глазурированные черепки. Видно, были здесь когда-то караванные пути, которыми возили в пустыню воду. Сколько кувшинов побили на тех путях, сколько пролили воды, сколько живой человеческой плоти легло в эту вечную глину.

Ведь задолго до нас ночь сменялась блистающим днем,
И созвездья всходили над миром своим чередом.
Осторожно ступай по земле!
Каждый глины комок,
Каждый пыльный комок был красавицы юной зрачком.

Опять прав незабвенный Хайям. До каких высот он поднялся, в какие бездны сумел заглянуть? Тут бы бросить все и отправиться на поиски той «сокровенной тетради», о которой все, что знал, поведал ему кабульский купец как-то утром в звездной башне. Как давно это было... Всего лишь минувшей весной, и как давно, кажется, это было...

Но как ведет человека судьба, как закручивает жизнь! Не до нее сейчас, совсем не до нее, хоть нет в мире ничего драгоценнее заветной той тетради. Что наш мир без Платона, без Аристотеля — никем не превзойденного наставника Искандера, без Плутарха и Птолемея, Фергани, Бируни, Абу Али Ибн Сины, Мухаммеда Ибн Мусы Хорезми? И что он без сокровенных тайн Омара Хайяма, о которых не знает пока никто?

Но надо садиться в седло, в поход на родного сына идти надо, который — ты слышишь, Аллах? — во имя твое возненавидел собственного родителя. И годы совсем не те, чтобы воевать. Это дедушка в походы ходил до последнего дня, но на то и был он железным, и кроме походов тех мало что занимало его в жизни. Но и отцу пришлось в преклонные годы взять саблю, отстаивать свое право тихо умереть, за власть бороться. Да и умер он в походе, как и дед... Значит, и вправду такая судьба всему роду: никогда не знать покоя и душу

Аллаху вручить вдали от родной столицы. Но сын еще не восставал на отца...

И вдруг далеко впереди затрубили карнаи.

Это Азиз! Это тревога! Это внезапно атаковали Азиза!

Верный сын, любимый сын. Воистину плоть от плоти, дух от духа. Что с ним сейчас? Жив ли еще или пал уже от предательской стрелы братоубийцы?

— Омар Халиб! Ко мне! — наклонившись к луке седла, крикнул мирза.

Возникла впереди минутная суматоха. Но сразу стихла. Раздвинулись невидимые всадники, пропуская кого-то, и вновь сошлись, как воды «Чермного моря». И вот уже скачет навстречу мирзе испытанный сотник его, над иными тысячниками и темниками вознесенный начальник дворцовой сотни, каждый нукер которой лично знаком Улугбеку.

— Скачи быстрее, Омар Халиб, к темнику Камилю. Скажи, что атаковали Азиза. Пусть идет к нему на выручку левой дорогой, а я зайду справа, со стороны Бухары, там ты меня и нагонишь. Как ветер, скачи!

И только пыль защекотала в ноздрях. Поднял коня на дыбы Омар Халиб, повернул и крикнул на скаку свою сотню. И унеслись они в непроглядную ночь, навстречу грозovому теплому ветру.

А Улугбек остановил свои тумены, перестроил их наспех и повернул на правую дорогу, к Димишку, прикрывавшему Самарканд. Теперь все зависело от быстроты и поворотливости Камиля. Успеет подойти вовремя, быть Лятифу в клещах, не успеет — плохо дело... И Азизу подольше бы суметь продержаться, чтоб не успел враг приготовиться к новому бою, чтоб застать его еще в пылу сражения.

Как на крыльях мчался Омар Халиб во главе своей сотни. С гиканьем и свистом летел, а полы его чекменя и впрямь раздувались на встречном ветру и неслись над степью, как крылья.

Но что там? Что там впереди? Стадо овец? А ну их плетью, плетью да саблей! Порубать пастухов, а отару разогнать по степи! Не видать пастухов? Все равно, чтоб расчистить дорогу в минуту!

Но не видно ничего во тьме да в пыли. Только бестолковый топот и бляенье, крики нукеров, и не разобрать, где тут овцы, где лошади, где объезд, где дорога... Ага, вот какая-то арба посреди сумасшедшего стада. Поперек дороги, одна, без лошади, без осла, без быков. Значит, это нарочно! Значит, это засада.

— Ко мне, нукеры! В сабли! — И, наклоняясь к этой крытой проклятой арбе: — Кто здесь есть? Выходи! Шкуру сдеру!

— Это ты, Омар Халиб? — тихий голос из мрака. — Ну-ка вели своей сотне ехать в объезд. Да скорей, сын греха, и скажи им, что никого нет в арбе.

— Тут нет никого! А ну, давайте в объезд! Этот голос... нет, Омар Халиб его не забыл и до гроба его не забудет.

— Постой, сотник. Куда же ты? Что велел передать Улугбек Камиль-беку?

— Не могу знать, брат великий мюрид. Велел просто быстрее идти на помощь мирзе Абд-ал-Азизу.

— Какой дорогой?

— О том не сказал.

— А ты что, брат мой Омар Халиб, забыл все? Так я тебе живо напомню! А ну, говори, что велел передать твой кафир, и догоняй свою сотню... Что ты мнешься, дурак! С Улугбеком покончено. О себе и о брате подумай, о сыновьях. Дай твою руку. Да здесь я! Куда ты суешь? Вот так... Вот кольцо тебе. Отныне ты не есаул, а темник властителя Мавераннахра, мирзы Абд-ал-Лятифа. Что велел Улугбек?

— Чтоб шел Камиль-бек по левой дороге, а сам мирза пойдет со стороны Бухары, у Димишка.

— Так... Скачи же скорее к Камилю и передай, что велел Улугбек идти ему правой дорогой! Скачи же, во имя Аллаха!

— А как же... Куда я потом?... Ведь меня...

— Чего же ты медлишь, иблис? Скачи, передай, а там делай, что хочешь... Затаись, пережди, а потом приходи во дворец.

Задыхаясь, догнал свою сотню Омар Халиб.

— Никого не нашел... Это, верно, засада. Не думали, черти, что нас целая сотня, и разбежались. Ну, быстрее, быстрее... Мирза Улугбек ждет!

Две неполные тысячи остались у мирзы Улугбека, когда он, пробившись к Абд-ал-Азизу, оторвался, наконец, от наседавшего неприятеля. Дорога на Самарканд была открыта. Темник Камиль не поспел, а может быть, перехваченный на полпути, рубился где-нибудь в степи, обагрывая кровью своей и чужой сухую колочку. Но была ли чужой любая капля крови в той братоубийственной сече, где сын восстал на отца, брат на брата, джагатай на джагатай, фарс на фарса, узбек на узбека?

Не возвратился и Омар Халиб. Может, лежит он сейчас со своею сотней, лицом в глину, со стрелой в затылке, как лежали сраженные из засады разведчики? И не ведает Камиль-бек, что его повелитель разбит и бежит сейчас с горсткой нукеров к Самарканду.

Порубаны и рассеяны по степи тумены мирзы. И одна у него только мысль, одна надежда: укрыться за зубчатой стеной арка³¹.

Хорошо, что Абд-ал-Азиз устоял. Окруженный плотной стеной верных людей, отбивался он от брата Лятифа, пока не поспел на выручку Улугбек. Вместе и пробились они, вместе, лука к луке, вырвались из западни.

Разослав к своим рассеянным темникам гонцов и наказав им ехать тайно, избегая дорог, где могли повстречаться враги, отрядил Улугбек две десятки к Камиллю, хоть и жаль ему было их отпускать. Каждого обещал сделать сотником, если хоть один прорвется к Камиллю и передаст ему приказ собрать какие можно войска и спешить к Самарканду, избегая сражений. Начальнику же отряда была обещана дворцовая тысяча.

Забирая в лежащих на пути караван-сараях и поселениях всех лошадей, спешил Улугбек под защиту стен.

Лятифу города не взять. Не все еще потеряно. А если сумеет Камиль подойти на подмогу...

Ели в седлах, не останавливались даже для молитв. И когда показалась в пыльной дали серая стена арка, Улугбек повеселел. Уже можно было разглядеть дымки стражи и башенки городских ворот, когда более зоркий Абд-ал-Азиз вцепился в горячую мокрую гриву отцовского ахалтекинца и крикнул:

— Они закрывают ворота, отец!

— Наверное, не узнали нас, думают, что неприятель.

— Нет, отец, нет. Им сверху виднее. Это измена!

Измена! Значит, прав был Камиль насчет Мираншаха-каучина, городского хакима. Это он и отравил тогда дервиша, чтоб не проговорился тот на допросе, а теперь закрыл ворота арка. Может, дервиш и пробивался к хакиму, чтобы толкнуть его на измену, закрыть ворота. Оставить беззащитного, преследуемого повелителя под стеной, а город сдать врагу? Нет, верно, еще раньше мюриды Ходжи Ахрара проложили дорожку к дому хакима! Иначе зачем ему было спускаться в тюрьму к дервишу, когда не его это дело? Слишком усерден! Как затмило глаза! И ведь говорил Камиль-бек, убеждал...

Повсюду измена. Как песчаные осы, источившие гнездами берега пересохшей реки, наводнили изменники город и, наверное, армию.

А что, если и верный Камиль? Если он узнал или тайный свидетель ему рассказал? Вот единственная измена, которую нет права проклясть. Но если Камиль изменил, то все кончено, не спасут даже стены. Да и так все погибло.

Они скачут еще к Самарканду, подчиняясь закону бездумного бега, не сознавая еще до

³¹ Арк — крепость, укрепленная городская стена

конца, что свершилось коварнейшее из предательств.

Но уже видно, как блестят островерхие шлемы воинов на стене и зеленеют обитые старой медью ворота между двух круглых зубчатых башен из серого камня.

Не могут не видеть с высокой стены, что скачет к воротам своего Самарканда законный повелитель, мирза Улугбек.

Но закрыты ворота, неподвижны воины на стене, и столбом поднимается дым в безветренное небо. Словно приготовились в Самарканде встретить врага.

Обмелевшая речка в широком галечном ложе, глинистая вода в арыках на сельских полях, гнезда аистов на древних карагачах — все настолько знакомо и близко, что не задерживает взгляда. Незнакомо одно — позеленевшая медь закрытых ворот. А теперь вот словно кто-то проделал болезненную операцию над глазами, и как будто впервые увидены эти бирюзовые капельки куполов, развалины серых древних покинутых городищ и эти гнезда на старых деревьях. Какая острая ясная боль! Непривычная грустная четкость!

Копыта выплескивают воду из речки, гремят по камням, и мутная глина стекает с бабок взмысленных лошадей, и капли тотчас покрываются пылью.

Остается одна лишь надежда, что воины не послушают изменника хакима и откроют ворота. А если откроют, не станут ли окованные створки входом в ловушку?

Но что там краснеет на башне? Халат хакима?

— Дальше ехать не надо, — говорит Улугбек и придерживает коня.

Но царевич Абд-ал-Азиз рвется к самой стене, чтоб хоть крикнуть изменнику снизу слова презрения.

— Не надо, мирза, — говорит Улугбек и, перехватив повод, вслед за собой поворачивает коня Абд-ал-Азиза.

И вот уже сотни объезжают десятников, передавая приказ Улугбека ехать к Шахрухии.

И опять выделяет отряд Улугбек из поредевших рядов и посылает новый приказ Камиллю. Отменяет прежнее повеление идти к Самарканду, назначает свидание в Шахрухии.

Устали лошади, бока их ходят, как мехи у горна. Да и нукеры шатаются в седлах. Все черны от пыли и пота. Пахнет дымом и пропотевшими кожами. И остро пахнет, куда острее, чем в ту ночь у караван-сарая, безнадежностью. Как будто где-то все уже твердо решено, и что бы ты ни делал, все пойдет прахом. Когда все слепо и покорно поворотили лошадей к Шахрухии и было безразлично, остаться под стеной у запертых ворот или скакать в другую крепость, тогда, быть может, каждый почувствовал, как пахнет безнадежностью. А старые вояки промеж собой шептались, что ясно чуют запах смерти.

Глава одиннадцатая

*Вы бьете в барабан у царских врат,
Литавры ваши в городе гремят,
Но знайте, что от одного удара
Ни города не станет, ни базара.*

Кабир

Вечерело...

После вечерней молитвы, когда честный мусульманин, воздав должное Аллаху, может и о себе подумать, к продавцу халвы, что держит лавку на торговой улице близ базара, пришли приятели сыграть, как всегда, в мейсир. Хозяин выставил на ковер дымчатые самаркандские вазочки со всевозможными сладостями, кувшин с кумысом и чудные исфаринские персики. Гости развязали пояса, достали деньги. Потом скинули халаты и осторожно, чтоб не размотались, сняли чалмы. Остались в исподнем да в тюбетейках. А рыбак даже свой зеленый шахрисабзский тюбетей снял — такой уж жаркий и душный

выдался вечер. Даже пот каплями проступает на бритой голове. Рыжий меняла, который пришел сюда от самых ворот Шейх-Заде, сразу потянулся к кумысу. Жадно выпил одну пиалу, затем другую.

— Ух, жарко! — отдуваясь, продохнул он и вытер локтем разгоряченное лицо.

— Да, жаркая выдалась осень, — подтвердил торговец мантами. — Старики говорят, что это не к добру.

— Какое уж тут добро? — кланяясь, как на молитве, запричитал хозяин, отделяя от кона две серебряных мири — обычную хозяйскую долю. — Слава Аллаху, если живы останемся и имущество сохраним.

— И я о том же, — кивнул торговец мантами. — Не знаю, что и будет с нами. На базаре говорят, будто наш кафир нечестивый еще вернется к городу, так не отступится. Значит, будет осада, нехватки всякие, все подорожает... — Щека его, как обычно, подергивалась.

— Чего же вы огорчаетесь, если подорожает? — удивился меняла. — Вам это, кажется, не в убыток! Добро, если подорожанием ограничится. А коли попробуют взять город силой? Начнут громить конторы и лавки? Что вы тогда запоете, почтеннейший?

— Избави Аллах, — все еще отдуваясь после кумыса, поднял руки к голове рыбник. — Это будет всеобщая погибель. Но что касается вздорожания, почтенный Хасан, — наклонился он к меняле, — это не каждому выгодно. Все знают, что вы даете деньги в рост, поэтому для вас подорожание сущая благодать. И почтенный Рахим, наш радушный хозяин, — приложил руку к сердцу рыбник, — не очень на этом прогадает... Но я? Скажите мне, где я возьму рыбу, если город окружат войска? Это же чистое разорение!

— А сколько мне придется платить за мясо? — встрепенулся торговец мантов и сразу же возвратился в обычное состояние, похожее на сон, но щека его дергалась, и за игрой следил зорко.

— Ну ничего, вы свое вернете, почтеннейший, — успокоил его меняла. — Сколько переплатите, столько и спросите, а то и еще больше.

— Это-то так... — вздохнул хозяин. — Но вы не представляете, сколько приходится платить за продукты, едва сводишь концы с концами. Если и заработаешь медяк на серебряную теньгу, то и тот грозят отнять. — И понизив голос: — Кто же будет теперь над нами, а, мусульмане?

— Может, Улугбек вернется? — покачал головой продавец мантов. — Говорят, он ушел собирать стотысячное войско, чтобы взять город и сурово наказать всех, кто ему изменил.

— Конец теперь вашему Улугбеку! — махнул рукой рыбник. — Слышал, что он разбит в пух и прах, а к городу подходит большое гератское войско. — Он вдруг тоже понизил голос и доверительно поделился: — Один очень осведомленный мулла говорил, будто нами станет править теперь молодой мирза Абд-ал-Лятиф и будто этот мирза известен своим благочестием, уважает законы шариата, заветы дедов и прежде всего печется о процветании торговли. Не знаю, правда или нет, но я так слышал.

— И я так слышал, — кивнул меняла. — Только мне рассказывали, что молодой царевич обещался освободить торговых людей от всех налогов.

— Не может так быть, чтоб вообще без налогов, — недоверчиво покачал головой хозяин.

— Мне так рассказывали! — стоял на своем меняла. — А еще рассказывали, что сам пророк Мухаммед вдохновил его на этот поход. Явился во сне и велел идти спасать ислам. И будто в Ташкенте, в соборной мечети Джами, которую построил святой шейх Ходжа Ахрар, слышали голос пророка...

— И что сказал наш великий пророк? — спросил нетерпеливый хозяин.

— А сказал он, что правлению нечестивого Улугбека пришел конец.

— А откуда известно, что это говорил сам пророк? — спросил недоверчивый рыбник.

— Уж, наверное, известно! — оборвал его меняла.

— Это так. Там все известно, — согласился хозяин.

Продавец мантов еще пуще задергался, печально закивал головой.

Игра сегодня явно не клеилась. Да и пора было расходиться по домам. В соседних лавках уже давно погасли масляные огни. Первым ушел меняла, ему было идти дальше всех.

Постукивая посохом и прижимая рукой пояс с деньгами, осторожно пробирался он темными кривыми улочками, мимо глухих глинобитных стен и запертых дверей. Стены казались густо-синими, как небо, только потемнее, конечно, а земля под ногами была черна, как горная смола. В непроглядной тени переулков мерещились всякие страхи. Меняла клялся Аллаху никогда больше не засиживаться до темноты.

Когда вышел на открытое место, чуть перевел дух. Уже светился в ночном небе купол «Гур-Эмира», и было рукой подать до мавзолея Рухабад и ханаки, за которым начиналась тенистая улица, где под старым абрикосом стоял его дом.

— Живешь в одном месте, — ворчал он, постукивая посохом, — контору держишь в другом, а в гости ходишь к самому базару? Что за жизнь такая пошла? И ограбить могут, и убить...

И словно в подтверждение самых страшных его опасений раздался пронзительный крик:

— За что? За что? Что я такого сделал? — кто-то истошно кричал, совсем рядом.

Меняла быстро юркнул в тень маленькой старой мечети и притаился в арке, всем телом прижавшись к нагретым за день изразцам.

Человек продолжал кричать, но крики его заглушила чья-то сердитая ругань, шарканье и тяжелый шелест и скрип, будто волочили по земле мешки.

«Наверное, тащут кого-то, а он упирается», — догадался меняла и еще глубже ушел в спасительную темень айвана.

Наконец, он увидел двух стражников, которые, путаясь ногами в свисающих до земли саблях и гремя щитами, с проклятиями волокли за руки арестанта. Ноги несчастного подгибались в коленях и тащились по земле. Все было так, как представилось это меняле.

«Значит, есть за что, — удовлетворенно подумал он. — Может, разбойника поймали, который нападает на ночных одиноких прохожих».

Таких разбойников, а еще лихих грабителей, срывающих замки с дверей контор и лавок, он больше всего боялся и ненавидел.

На шум, позвякивая доспехами, прибежал из соседней улицы еще один ночной дозор.

«В глухие края города небось не ходят, — подумал меняла. — Все здесь собрались, где просторно и тихо. Дармоеды проклятые. Ишь какие шеи отъели, все равно как у почтенного рыбника!»

В дозоре было трое: впереди в богатой шелковой чалме и с одной только саблей, наверное, начальник, сзади два стражника при саблях и щитах. Один из них нес сильно чадающий факел. В красноватом мятущемся свете могучие шеи стражников и впрямь казались налитыми кровью.

— Что тут у вас происходит? — строго спросил начальник стражников, которые волокли человека.

— Да вот тут, господин... — начал было один, но голос его перекрыл новый отчаянный вопль.

— А ну замолчи! — рявкнул начальник. — Не то тебе тут же отрубят башку.

Человек сразу замолк и только икал, тихонечко подвывая.

— Он говорил, если сын встает на отца...

— Замолчи! — остановил стражника начальник. — Потом расскажешь, что он говорил.

— И еще он говорил, что сиятельный хаким Мираншах... — рвался высказаться дозорный.

— Я сказал — потом! — вновь оборвал его начальник. — Вы все правильно делаете. Незачем только шум поднимать. Ведите его! А ты им помоги, — обернулся он к одному из своих.

Втроем стражники быстро управились с задержанным и, заломив ему за спину руки,

уже не потащили, а повели к Синему дворцу в караулку.

Когда все прошли мимо арки, в которой таился меняла, тот увидел освещенное факелом лицо задержанного и узнал кроткого, улыбчивого Махмуда-сундучника, у которого не далее, как на прошлой неделе, заказал новый, обитый железом сундук, с особым запором.

«Не видать мне теперь моего сундука», — подумал меняла и хотел уже выйти из арки, чтобы продолжить путь. Но тут он услышал тихие шаги и юркнул обратно.

Мимо прошел человек с книгой под мышкой — не то мулла, не то ученик медресе, а может, и писец. По тому, как он крался за стражниками, уведшими несчастного Махмуда, догадливый меняла смекнул, что у него в этом деле свой интерес.

«Да, лихие наступают времена», — вздохнул про себя меняла, и, когда стихли крадущиеся шаги в переулке, посох его снова застучал по растрескавшейся от сухости и жары каменной глине.

Глава двенадцатая

В мир пришел я, но не было небо встревожено.

Умер я, но сиянье светил не умножено.

И никто не сказал мне — зачем я рожден

И зачем второпях моя жизнь уничтожена?

Омар Хайям

Улугбек не спешил. Поредевший отряд его далеко растянулся по дороге. Чтобы дать отдых своему ахалтекинцу, он пересел на вороного араба. Высокое, обитое сафьяном персидское седло с острой лукой, ковровый чепрак и серебряная чеканная сбруя — последние отличия повелителя Мавераннахра от любого из его нукеров. А так все, как у них: пропыленная одежда, черное от грязи и копоты лицо.

Почему не спешил Улугбек, когда в любую минуту враг мог отрезать ему дорогу к последней крепости? Почему резвый скакун мирзы шел шагом, а не летел рысью, почему боевые кони воинов неторопливо и мерно мотали головами, словно водовозные клячи?

Кто знает...

Быть может, усталые люди дремали в седлах, а мирза хотел дать им хоть такой недолгий и обманчивый отдых? Или хотел он, чтобы отдохнули кони, которые тоже устали скакать?

Но вернее всего, что просто оттягивал Улугбек неизбежный конец невеселого этого бегства. Сердцем уже не верил ни во встречу с Камилем, которому послал приказ идти к Шахрухии, ни в саму Шахрухию... Что эта крепость без войска Камиля? Она не выдержит долгой осады и падет, а то еще и выдаст его, Улугбека, врагам, чтобы спасти свои стены.

Остановились у колодца с мутной солоноватой водой. Сначала напились сами, потом стали поить лошадей. Улугбек слез с коня и, чтобы немного размяться, решил пройтись. Сквозь поредевшие ветви саксаула виднелись серые холмы какого-то заброшенного городища.

Ветры обнажили кое-где цветные черепки, редкие бусины из бирюзы и сердолика. Шест с посеревшим от времени белым флажком указывал святое место. В проломах куполов колыхались сухие метелки тростника, среди осыпавшихся стен бегали черные, как камни пустыни, бескрылые жучки. Известковые шары скарабеев. Пыльные ящерицы, исчезающие вдруг в бесчисленных дырах и трещинах.

Вот где по-настоящему запахло безнадежностью. Когда-то кипела здесь жизнь. Люди пекли лепешки, враждовали, молились, укрепляли стены. Но пришел их час — и все исчезло. Они ушли и унесли с собой свой маленький мир. Но что-то осталось, пережило их и теперь медлительно и сонно умирает под солнцем, ветрами и редким, очень редким дождем.

Из-под камня, на который ступил Улугбек, сонно вытекла черная мутная струйка и пропала в колючих кустах. И только шорох, печальный и тихий, остался в ушах.

— Осторожно, отец! Змея! — испуганно крикнул царевич.

Улугбек обернулся. Оказывается, Абдал-Азиз тихо следовал за ним в этой странной прогулке по серым холмам, которые постепенно обретали черты гениального хаоса мертвой природы.

— Не бойся, мирза. Змеи жалят, если на них наступают ногой. Они не устраивают засад и не выпрыгивают из тайных укрытий. Змеи просто уходят, когда их потревожат, не вступая в борьбу ни из-за жилища, ни из-за земли. Но когда мы уйдем, эта змея возвратится на свое место. Она просто умеет ждать, мирза... Пойдем назад. Пора ехать, и надо спешить. Смертным не дано возможности оттягивать встречу с судьбой... Вели подтянуть подпруги и проверить оружие, мирза. Нам не уготовано право увидеть заранее даже песчинку из тех строений, которые небо выстраивает на нашем пути. Так будем же готовы ко всему. Пойди, распорядись...

Абд-ал-Азиз поклонился и сбежал с осыпи, бывшей когда-то стеной городища.

Что-то приоткрылось вдруг в сознании Улугбека, но сейчас же захлопнулось, и он не успел даже понять, что это было. Может быть, приблизился он в тот миг к пониманию смысла тех неумолимых законов, по которым создаются и рушатся города? Или был близок к отгадке той жестокой и однообразной шутки, которой вот уже столько веков забавляется небо?

Просто что-то мелькнуло и тут же исчезло, потому что мысли исчезают, как озера и пальмы, которые возникают вдруг в пустыне перед изумленными глазами караванщиков. И тут же пришли на память строфы Хайяма, о котором все чаще и чаще думал теперь Улугбек:

Звездный купол — не кровля покоя сердец,
Не для счастья воздвиг это небо Творец.

И тот протест, который рос и крепнул в его сердце, вырвался на свободу. Почему он должен ехать в ту безнадежную крепость? Почему он должен сражаться за царство, которое уже потерял и которого, если признаться честно, ему не очень и жаль? Может, проститься сейчас с войсками, одарить сотников и распустить их всех по домам? Взять только нескольких провожатых и отправиться вместе с Абд-ал-Азизом за «сокровенной тетрадь», в которой спрятал Омар Хайям великие и страшные истины.

Он думал о том, постепенно освобождаясь от оболочки привычных забот правителя, и мир вокруг ширился и расцветал ярчайшими красками. Все, что казалось раньше недоступным и далеким, манило неожиданной близостью, испарялись запреты, спадали засовы неотложных государственных дел, и тайные желания, запрятанные в темные закоулки души, медленно выходили на свет, недоверчиво щурясь и принимаясь к непривычной свежести распахнутых горизонтов.

Но где-то, словно был он одновременно и самим собой, который стоял здесь и думал, готовя решение, и кем-то другим, посторонним, следящим за всеми метаморфозами этой мятежной души, но где-то знал Улугбек, что сядет сейчас в седло и поведет свое войско в последний поход.

Тот, посторонний, следящий, думал еще о садах Баги-Мейдана, о математиках и астрологах, о шалаше в винограднике, о Звездной башне и таблицах, в которых разгадана тайна тысячи неподвижных светил.

Что станет со всем этим?

И этот вопрос отозвался тоскливым эхом в сердце того Улугбека, который готовился вновь стать Мухаммедом-Тарагаем, ответственным перед Аллахом только за тело и душу, что некогда от него получил. Сразу сузился мир, померкли слепящие краски и бесцветное небо степное упало, как занавес, вокруг мирзы. Исчезла раздвоенность, стал он вновь государем, ответственным за всю страну, которую терял, и за эту горстку не бросивших его в беде людей.

Но мятежный порыв, но чувство почти животного стремления к свободе все же

разбудили запрятанные в голове слова Хайяма:

...Ведь купол звездный —
Он тоже рухнет. Не забудь о том.

С мстительной радостью повторил Улутбек в душе эти кощунственные, бунтарные слова. И как волшебный талисман, как кольцо Сулеймана, открыли они стареющему мирзе тайну жизни, тайну тайн, которую искали и вечно будут искать поэты и звездочеты.

И необъятное ночное небо с неисчислимыми глазами далеких звезд вдруг стало как бы равным городищу, забытому среди степей. Оно не вечно. Его устои рухнут когда-нибудь, как эти стены, которые осыпались и стали пылью, неразличимой, первозданной пылью, из которой неведомый гончар налепит новых кирпичей. И даже знать не будет о том, что глина в его руках когда-то жила иной, теперь забытой жизнью. Не это ли извечный и единственный притом закон природы?

Всему обозначены пределы жизни, но из смерти опять родится жизнь, хотя и не дана ей память о прошлом... А небо? Небо, которое нам посылает утраты, горести, которое обманывает нас! Да, даже это небо само подвластно своему закону, и однажды звезды обрушатся и превратятся в пыль! Вот мы и сравнялись, небо... Подумать только, смертный, затравленный старик проведаль твою судьбу. Он своей судьбы еще до конца не знает, а твою проведаль и увидел, что в итоге она не лучше, чем его судьба. Какая разница тогда меж нами? Кто выше, а кто ниже?

И еще одно было дано Улутбеку судьбой в ответ на его кощунственный вызов. Он понял в этот миг, какая тайна скрывалась в «сокровенной тетради» Хайяма. Лиловой вспышкой молнии всплыли в ночной черноте его памяти строки:

Не сетуй! Не век юдоль скорбей,
И есть в веках предел вселенной всей.
Твой прах на кирпичи пойдет и станет
Стеною дома будущих людей.

И тут только стала ясна ему тайная связь, протянутая через века, от его сердца к вечно живому сердцу давно умершего поэта. Понял мирза, что Омар Хайям — суфийский философ, богохульник, поклонник женской красоты и хорошего вина, ученейший астролог и еретик — во всем был подобен ему, Улутбеку. Стремлением к истине, мукой сердца и смертной страдой оба они расплатились с небом за тайну, которую вырвали у него на закате жизни.

Но сразу сомнение холодным змеиным телом проскользнуло в разгоряченную душу Улутбека.

Разве вырвал он эту тайну у неба? Разве, если взглянуть на все это как-то иначе, не выйдет, что оно само даровало ее? А может, вернее всего будет сказать, что небо вообще не дарует и не сохраняет никаких тайн. Оно равнодушно к человеку. В нем нет ни добра, ни зла.

Людям самим дано постигать высокие и страшные истины. И каждый, наверное, приходит к той разгадке великого круговращения мира, которая далась Хайяму и вот теперь ему...

Но нет, не каждый. Только мятущийся, пытливым ум, только умеющий страдать и знающий любовь к тому приходит. Нет, далеко не каждый! Тут мало только чувствовать и недостаточно только понять. Все должно стать ясным, как первозданные истины, которые ребенок получает в день прихода в мир: мать, отец, земля, небо и солнце.

Все приходит и уходит, исчезают царства, и религии рассеиваются, как туман. Вечен лишь круговорот природы. И может быть, вечны поиски истины.

Улугбек вернулся к колодцу, велел перенести свое седло на отдохнувшего ахалтекинца. Сел с помощью сына и сотника на коня и дал приказ сниматься.

До Шахрухии оставался один переход. Его прошли на рысях.

Как только со стены арка увидели Улугбека, сразу же ударили в барабаны, тонко и хрипло запели трубы. Гостеприимно распахнулись ворота крепости.

Но запах человеческого жилья, свежего хлеба и осеннего горького дыма не мог забыть ту слабую и настойчивую струйку, которая вот уже три дня тревожила всех. Не исчезало ощущение безнадежности.

И может, оно да еще особое, непередаваемое чутье, которое обретают хорошие воины в трудных походах, спасло на этот раз Улугбека.

Когда он вместе с Абд-ал-Азизом и ближайшими нукерами проехал сквозь строй копейников в гостеприимно распахнутые ворота, охранявшие крепость стрелки вдруг бросились с башен вниз, к боковым внутренним аркам. Но прежде чем застигнутые врасплох поняли, что происходит, и прежде, чем копейники успели перерезать входящую в крепость колонну и захлопнуть ворота, в бой вступили тревога и настороженность. Это они скоординировали руками Улугбековых нукеров выхватить сабли и натянуть удила.

И за миг до того, как Абд-ал-Азиз крикнул слово: «Измена!», проникшие в крепость поворотили коней и стали полосовать саблями спины закрывавших ворота копейников. Те же, кто остался снаружи, пустили стрелы в сбегавших со стен лучников.

— Измена! — крикнул Абд-ал-Азиз, и сабля его снесла полчерепа какому-то из шахрухийцев.

Но были в тот миг они уже у ворот. Стремительно поворачиваясь к этим воротам, Улугбек поднял коня и, добавив к удару сабли всю его тяжесть, наискосок рубанул кого-то по голове и плечу. Другого копейника он сбил конской грудью, а третьего — уже у самых ворот загородившего ему путь — ткнул острием сабли прямо в лицо.

Так вырвались они из крепости, в которой подстерегала их всех та же измена, от которой уже давно, повсюду, где бы они ни были, провонял воздух.

Начальник и этой цитадели, мамлюк Ибрахим, сын Пурада, оказался предателем.

Какое-то время скакали разгоряченные прочь от коварных ворот, потом сдержали коней и, собравшись все вместе, широким крылом двинулись обратно. Хотели, сгоряча, взять эту крепость, растоптать и обезглавить всех сидящих за ее стенами изменников.

Но тучи стрел полетели им навстречу. Стрелы падали, вздымая облачка пыли, далеко еще от копыт передних коней. За той свистящей пылевой дугой они обещали смерть многим из тех, кто летел сейчас к крепости. И смерть эта пришла бы прежде, чем остальные доскакали до стен. А что им там делать, у этих утолщающихся к основанию зубчатых стен без таранов и лестниц, без крюков и огненных смоляных горшков, которыми нападающие забрасывают осажденных?

И велел Улугбек поворотить коней и уходить прочь от предательских стен.

А мамлюк, начальник Шахрухии, топтал ногами раненых и павших своих воинов, рвал бороды невредимых...

Не смогли захватить дети греха кафира, который так доверчиво первым въехал в крепость. Разжирели бездельники, стали неповоротливыми, как каплуны. А теперь он ушел и унес с собой ваще, трусливые шакалы, счастье, обещанную вам за него награду унес.

И этих каплунов, этих шакалов начальник ненавидел сейчас едва ли не больше, чем Улугбека, которого пытался предательски захватить.

Черной точкой вдали был виден уже конь Улугбека. Это уходили в степь от начальника большой сад под Самаркандом, доходная должность и титул ильхана³². И как оправдаться перед мирзой Абд-ал-Лятифом, что не смог пленить Улугбека, проворонил... А если, сохрани нас Аллах, этот кафир опять утвердится в Самарканде? Что тогда?

³² Ильхан — владыка народа

Но о том даже подумать было страшно...

Сам не знал Улугбек, куда ехал, куда вел за собою людей. Надо было захватить в какой-нибудь кишлак, чтобы они отдохнули, поели как следует, взяли с собой запас воды. А там что? Что потом?

Вокруг лежала ровная степь, впереди темнела полоса щебневой пустыни, в бледном небе вставали голубые и ослепительно белые острые тени далеких гор.

У трех старых раскидистых ив, выросших на излучке мутной стремительной речки, остановились на ночлег. До сумерек было еще далеко, но все измотались уже до предела. Притом некуда было спешить.

Натянули войлочные палатки, поставили охрану, разожгли костры, на которые пошли ветви ив. Но топлива было мало, и костры скоро угасли.

Ночь выдалась холодная. В морозной ее тишине часто слышался шум — то, наверное, шумела река — и дальний топот коней. Но охрана тревоги не подавала, и никто не хотел вылезать из тепла.

А рано утром, выйдя из палатки на белую от инея, мерзлую землю, Улугбек узнал, что почти все его нукеры бежали этой ночью из лагеря. Только шесть палаток чернели среди побелевшего поля, только шестьдесят скакунов было привязано к кольям. Хорошо, что не увели за собой всех лошадей.

Спали, укрытые попонами, лошади, растения казались вылепленными из паутины. И такая стояла кругом тишина!

Улугбек глубоко вдохнул льдистый, удивительно свежий воздух. Словно к чему-то прислушиваясь, прищурил глаза и потянул носом. Навязчивый запах исчез. Определенно исчез...

В лагере больше не пахло безнадежностью! И Улугбек осознал, что отныне у него нет армии. Люди, над которыми висела его звезда, ушли, и он предоставлен теперь собственной судьбе.

Он решил ехать в Самарканд, чтобы объяснить там с мятежным сыном своим мирзой Абд-ал-Лятифом. По пути хотел посетить Баги-Мейдан и собрать своих астрологов, а то как бы не приключилось с ними беды. Уж для них-то он сумеет выговорить свободу и неприкосновенность. А еще, конечно, хотел заглянуть в тот виноградник, в последний раз, верно.

А там... что выйдет... Все зависит оттого, насколько сумеет он убедить Абд-ал-Лятифа. Пусть мрачный изувер, фанатик, но сын все же... К тому же он доблестный воин... Самолюбие его должно быть удовлетворено победой... Но чего он захочет? Даже в детстве желания его для всех оставались загадкой. Никто не знал, чего хочет на самом деле мрачный и молчаливый принц.

Глава тринадцатая

*По мне, исчезни память об эмире,
Но только бы остался сам эмир.
К чему о мертвом память?
Мертв умерший,
Ушел ушедший, — так устроен мир.*

Рудаки

Улугбек вошел в свой Самарканд как мирза, но не как правитель. Ему были оказаны все почести, но улицы, по которым его провезли во дворец, казались вымершими. Только синие кольчуги стражников видел вокруг себя поверженный правитель Мавераннахра.

Во дворце ему отвели специальное помещение, покинуть которое по своей воле он уже

не мог. С Абд-ал-Азизом, равно как и с математиками и астрологами, его тоже разлучили, одному только Али-Кушчи дозволялось иногда навещать Улугбека, чтобы сыграть с ним в шахматы. Разговаривать о делах обсерватории, о звездах и ожидающей их всех судьбе было строго запрещено. За этим бдительно следил специально приставленный к Улугбеку мулла, не покидавший его ни днем ни ночью.

Улугбек несколько раз обращался к мулле с просьбой передать мирзе Абд-ал-Лятифу свое настоятельное желание свидеться, но мулла всякий раз отвечал, что ему приказано никуда не отлучаться из этой комнаты. А больше послать к Абд-ал-Лятифу было некого. Прислуживали Улугбеку глухонемые слуги, а его Али приводила и уводила стража.

Но однажды утром, в начале святого месяца рамадана, когда мулла предписал Улугбеку пост, а повар строго предписание выполнил, вошел смуглый сейид в суфийском плаще и, поклонившись Улугбеку, сказал:

— Великий султан, сын султана и внук султана Абд-ал-Лятиф Бахадур, правитель Герата, шлет вам привет и просит вас пожаловать к нему в гости.

Улугбек молча кивнул, гадая про себя, не этот ли сейид с нечистыми белками и есть тот самый калантар, который столь сказочно вознесся при дворе его сына Лятифа?

История не сохранила нам сцену свидания Улугбека с сыном. Известно лишь, что при ней присутствовал сейид мирзы Абдал-Лятифа и, короткое время, писец, за которым послали уже в самом конце.

Когда Улугбек вышел наконец из покоев сына, которые еще недавно были его покоями, был он, может быть, лишь немного бледен, но держал себя, как обычно, спокойно и просто.

Когда же вечером к нему допустили Али, он сказал своему любимцу, не обращая внимания на муллу.

— Я только что подписал отречение в пользу сына своего, мирзы Абд-ал-Лятифа. Но всем вам я выговорил прощение и безопасность. Через три дня все вы сможете покинуть этот дворец, чтобы уехать в другие города или остаться здесь. Прощай, мой сокольничий, и простись от меня со всеми. В ближайшие дни отправлюсь в Мекку замаливать грехи. Мне нечем наградить тебя за верную службу. Возьми себе «Зидж», просто на память, и молись за меня. Только не медли с молитвами, они мне помогут на трудном пути, пока священная земля пророка не облегчит мои грехи. Ты понял меня?

— Понял все, государь. В эту же ночь святого для мусульман месяца я начну молить за вас Аллаха. — Он пал ниц и поцеловал пыль у ног Улугбека.

Тот поднял его, поцеловал в глаза и тихонько толкнул от себя:

— Ты у меня в груди. Иди!

И вспомнил Али тот радостный пир в Баги-Мейдане, когда пел мирза под рокот дутара:

...внемли зову мысли,
И песне у меня в груди!
Приди!

И, плача, покинул он своего повелителя. Той же ночью Али-Кушчи бежал из дворца. И в ту же ночь в дворцовой мечети в полном составе собрался священный совет. Все главные муллы Самарканда, Герата и Бухары сошлись на встрече, мударрисы святых медресе, улемы и шейхи. Председательствовал гостивший в Самарканде Ходжа Ахрар — святой шейх всемогущего братства накшбенди. По левую руку от него сидел всевластный сейид нового властителя Мавераннахра, великого амира гератского Абд-ал-Лятифа. Были там и другие высшие мюриды — накшбенди, приехавшие вместе с Ходжой Ахраром из Ташкента благословить Абд-ал-Лятифа на долгое и счастливое царствование.

Утром было объявлено, что священный совет одобрил решение мирзы Улугбека Гурагона передать правление законному наследнику — старшему сыну мирзы Абд-ал-Лятифу Бахадuru, а самому совершить священный хадж в Мекку.

При этом мирзе рекомендовалось, дабы не рассеять благочестивого сосредоточения, не брать с собой никого из тех, кто может отвлечь его суетными разговорами о науках, походах или управлении страной, от мыслей о Боге и душе.

Кроме того, святые шейхи, муфтии, мухтасибы и мударрисы выразили пожелание, заботясь о душе мирзы Улугбека Гурагона, чтобы оный мирза семь раз прочел на пути в священную землю все сто четырнадцать сур Корана, памятуя, что вера — лучшая добродетель, а ислам означает вручение себя Аллаху.

Заботясь о душе мирзы Улугбека Гурагона, священный совет выбрал и день, угодный Аллаху, в который мирзе надлежит покинуть Самарканд, и день этот приходится на десятое число месяца рамадана восьмьсот пятьдесят третьего года пророческой хиджры.

Как и положено паломникам, мирзе надлежит покрыть левое плечо, грудь и спину ридой и иметь с собой все, что надобно для салаята: саджад, четки и сосуд для омовений.

Кроме пяти канонических молитв и добавочной вечерней молитвы по случаю рамадана, мирзе Улугбеку Гурагону предписывается еще тахара ³³, в том числе и таяммум ³⁴.

Исполнив таслим ³⁵ в пути и совершив все положенные очищения и молитвы, мирза Улугбек Гурагон по воле Аллаха прибудет на священную землю. На священной земле паломнику Мухаммеду-Тарагаю предстоит облобызать все четыре угла святой Каабы: иракский, сирийский, йеменский и черный, трижды поцеловать священный черный камень у черного угла, а также совершить паломничество со всеми необходимыми для этого обрядами к могиле пророка нашего Мухаммеда в священной Медине и святым местам Мекки, Мины, Сафы и Марвы.

Возвратится же в родной Самарканд мирза Улугбек Гурагон со священной реликвией — лоскутом кисвы ³⁶. В спутники же ему дан был благочестивый мусульманин Ходжа Мухаммед-Хосрау, совершивший уже святой хадж.

Обо всем этом во всеуслышание объявили во дворце и в самом Самарканде, ибо народу надлежит знать, какой теперь над ним правитель и какая судьба постигла правителя прежнего. И народ радовался, что вместо нечестивого кафира в Самарканде воцарился теперь новый, благочестивый амир. Нравилось людям и то, что, хотя порок заслуживает сурового наказания, с Улугбеком обошлись почтительно и мягко. Ибо должен сын чтить отца своего, кем бы тот ни был. Радовались и за самого Улугбека, что вернулся он в лоно ислама и спасет свою душу, совершив хадж.

И как-то само собой решено было разрушить нечестивое сооружение на холме Кухек, который на самом деле — вдруг об этом узнал весь Самарканд — есть место погребения сорока дев. Каких дев? Почему дев? Об этом не спрашивали. Разве и так не ясно? Место погребения сорока дев. Недаром ислам унаследовал древнюю веру в непорочных созданиях от давних домусульманских преданий.

О том же, что младший брат нового властителя Абд-ал-Азиз взят под стражу, народу не сообщили.

Раздобыв у верных людей коня и немного денег, закутавшись в далк — убогое одеяние дервишей, выбрался Али-Кушчи из города. Нет, не так выезжал он из этих ворот еще месяц назад. Вместе с любимым своим повелителем, вместе с другом, уздечка в уздечку, пролетал он мимо почтительных стражников, целовавших следы благородных коней. А теперь,

³³ Тахара — очищение

³⁴ Таяммум — очищение песком

³⁵ Таслим — предание себя Богу

³⁶ Кисва — черная одежда каабы

выкрасив бороду хной, лицо намазав растительным соком, отчего оно стало серым, как от навсегда въевшейся в поры пыли, робко заплатил он пошину и на поводу вывел коня из ворот.

— Не украл ли? — спросил его стражник. — Больно хорош такой конь для нищего брата.

Хорошо, что вступился другой:

— Оставь Божьего человека в покое... Иди себе, странник, иди! — И тихо шепнул товарищу: — Хочешь прослыть богохульником? Голове не сидится на шее?

И подумал Али, что лихие дни настали для Самарканда, очень лихие.

Он поехал знакомой дорогой, вопреки воле сдерживая коня, ибо некуда торопиться дервишу, у которого в запасе целая вечность. Но сердце Али торопилось, и память его неслась по дороге, обгоняя медлительный шаг коня.

Лишь у знакомой чайханы он проехал как можно быстрее, низко опустив голову, как бы погруженный в молитвы. И толстый чайханщик его не узнал и не стал зазывать в чайхану. Зачем ему нужен дервиш, который бесплатно поест да, того и гляди, потребует денег на Бога?

Никому не мог довериться Али-Кушчи: ни слугам Баги-Мейдана, ни сторожам Звездной башни, ни садоводам, ни гуриям — никому. Привязав коня под чинарой, он осторожно забрался в сад. Прокрался в уединенную беседку, стараясь, чтоб не увидали из окон китайского павильона, затаился там в углу. Только дождавшись ночи, Али-Кушчи направился к башне.

Черной громадой смутно виделась она в ночном осеннем небе. Он знал здесь каждый камень, каждый завиток глазури. Только через дверь можно было проникнуть в башню. Потому и пришлось ему постучать по медным скобам тяжелым медным кольцом. Казалось, вся ночь встрепенулась от этого стука, где-то забрехала собака, спросонья затрепыхалась какая-то птица под самой крышей. Лишь в самой башне все было тихо. Али налег на дверь плечом, но она даже не скрипнула. Тогда он опять постучал кольцом о скобу. Особым стуком, который знали все астрологи, приходившие сюда по большей части ночью. Услышав этот стук, сторожа стремглав бросались к двери. Ведь сколько раз бывало, что так стучал сам мирза.

— Кто это стучится? — спросили глухо из-за двери. — Не велено впускать.

— А ну открой, не то я прикажу, чтоб выломали дверь! — грозно сказал Али. — Кто не велел впускать? Ты что, не узнаешь? — Он нащупал костяную ручку ножа.

— Как можно, господин, как можно, — залепетал сторож. — Я сразу узнал вас, сразу! Но я маленький человек, не велели пускать, вот я и не пускаю.

— Кто не велел?

— Новый амир.

— Он что, приезжал сюда и лично тебе приказал никого не впускать. Так, что ли?

— Шутите, господин! Виданное ли дело! Молодой мирза послал сюда своего сейида, который вызвал к себе господина управляющего, а уж господин управляющий...

— Замолчи, дурак! Виданное ли дело, говоришь! Что, уже забыл то время, когда сам великий мирза снисходил до разговора с таким червем, как ты? Виданное ли дело! Быстро приспособился к новым временам! Наш Улугбек еще правитель Мавераннахра, и именем его я требую открыть мне!

— Я маленький человек, — захныкал сторож. — Что велют, то я и делаю. Один говорит: не впускай, другой говорит: впускай. Кого слушать? О Аллах! И все грозятся... Ну, что тут будешь делать? Как уберечься?..

— Еще одно слово, вонючий ишак...

— Сейчас, господин, сейчас.

Лязгнул засов, и дверь приоткрылась.

Красноватая полоска брызнула под ноги Али. Он оглянулся в темноту и тихо, но внятно приказал воображаемым спутникам:

— Всем оставаться на местах и никого не подпускать сюда.

Затем толкнул дверь и, вырвав у старика лампу, велел ему идти наверх и оставаться там до тех пор, пока его не позовут. Когда смолкли шаркающие по винтовой лестнице шаги, Али осторожно прокрался в худжру Улугбека.

Поставил лампу на пол и, набрав полную грудь воздуха, рванул со стены исфаганский ковер. В носу зашекотала пыль.

Али чихнул и, отмерив от пола около трех локтей, сунул нож в трещину и осторожно нажал.

Бесшумно отвалилась дверца тайника. Али пошарил в провале рукой и облегченно вздохнул. «Зидж» был на месте.

Благоговейно вынул из тайника Али-Кушчи этот великий труд, завещанный ему повелителем. Как смотрел тогда мирза на своего сокольника! «Только не медли с молитвами!» Нет, он не промедлил, он не опоздал, он здесь, чтобы спасти и сохранить беспримерное сокровище человеческой мысли.

«Зидж Гурагони», «Новые гурагонские астрономические таблицы».

Али благоговейно вынул рукопись и поднес ее к фонарю. Быстро перелистал. Вот способы летосчисления народов земли: эра пророка, греки, эра Ездигерда, соотношения разных систем, эры Джалаледдина, уйгур и китайцев, о праздничных днях... Вот таблицы, примеры вычислений, наставления, как мерить высоту звезды и расстояния на небе, как определять дни затемнения светил... Вот наука о том, как звезды определяют наши судьбы, вот цифры, по которым в урочный час на небе можно найти любую из известных звезд...

Все, все на месте. Но не может удержаться Али-Кушчи! Перевернув, он снова раскрывает книгу и, пропуская вводные страницы, читает. И как будто слышит голос Улугбека:

«Мусульмане ведут счет месяцев хиджры от одной новой луны до следующей за ней новой луны, этот промежуток времени не превышает 30 дней и никогда не бывает меньше 29, так что можно считать попеременно четыре месяца по 30 дней и 3 месяца по 29 дней без всякого остатка, двенадцать месяцев образуют один год, годы и месяцы по этому способу являются истинными, лунными. Астрономы считают, что Мохаррам содержит 30 дней, Сафар — 29 дней, и так далее до последнего месяца года, но только на протяжении 30 лет месяц Зульхиджа одиннадцать раз исчисляется в 30 дней. Добавочный день вставляется в годы: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 и 29-й, и эти одиннадцать лет, называемые високосными, заключены в следующих трех словах...»

— Господин, господин! — вдруг слышит над собой Али, поспешно хватая нож и, резко обернувшись, видит испуганного сторожа.

— Как ты посмел?..

— О, господин! Сюда идут!

Али захлопывает «Зидж» и прячет за пазуху. Потом вставляет на место крышку тайника.

— Если скажешь хоть слово о том, что видел... — схватив старика за халат, он притягивает его к себе.

— Сюда идут! — шепчет сторож, и выпученные глаза его становятся похожими на крутые яйца.

— Молчи, старик!

Али сбегает вниз по лестнице и осторожно приоткрывает дверь. По трем аллеям качаются огни. И слышен шум и рокот. Неповторимый страшный голос подступающей толпы.

Он тихо выбирается наружу и прячется в ночной тени. Прижавшись спиной к холодным изразцам, обходит башню и, оказавшись по другую сторону, бросается в колючие кусты. Весь исцарапанный, в разорванной одежде, прислушиваясь к грохоту и шуму, он спешит из сада к той чинаре, где мерно жует какие-то травинки его конь.

Уже далеко от Баги-Мейдана, по дороге в Персию, увидел он красное зарево над

холмом Кухек.

Глава четырнадцатая

*Кому чужая по сердцу жена,
Того погубит ложная услада:
Как сахар, вкусной кажется она,
Но этот сладкий сахар полон яда.*

Кабир

Как быстро все переменилось в этой виноградной ложбинке. Откуда взялись эти желтые и красные пятна кругом, прозрачность какая-то, легкость. словно в преддверии иных времен застыли просветлевшие сады. Неровными волнистыми углами тянулись птичьи стаи. Сквозь влажный шелк латунных листьев проглядывали устремленные в бесцветную даль утреннего неба ветви и старые ивовые корзины пустых гнезд. В пазухах листьев стили капли холодной росы, словно не было сил пролиться на землю. А она пахла уже влажной далью, точно тайно холодными ночами успела высосать небо.

Та же тусклая просветленность ощущалась и в шалаше, как будто могла, словно крона живого дерева, поредеть и расшириться облегченными ветвями его крыша.

Все, все переменилось на земле. Из садов за арыком еще тянуло гарью. Опустела дорога. Никто не приходил за осенними дынями. Спелые и забытые, грустно мокли они на земле, и только медлительные улитки дремали на их росистых боках.

К полудню солнце разогрелось, и воздух становился волнистым от испарений. Появлялись ящерицы, прилетали какие-то птицы, и земля возвращала украденные за ночь запахи. Откуда-то кисло тянуло виноградным уксусом, паленым кизяком и пылью. Но запах остывшего пепелища не улетал, и лишенные крова голуби приглушенно стонали в садах за арыком.

И так остро и безнадежно было это ощущение всеобщей неотвратимости перемен, что Огэ-Гюль находила в нем грустное утешение. Никто не придет уже в этот шалаш, и незачем больше, откинув покрывало, склоняться над арыком и долго слушать, как булькает и тихо звенит вода в кувшине. И поздние дыни никто не станет срезать. И птицы, наверное, уже никогда не вернуться к своим гнездам.

Ветер шелестел в сквозной листве и продувал шалаш и гнал куда-то бесформенные тени облаков. Все прошло, и незачем было вспоминать. Нет памяти у ветра, и у листа ее нет, когда, тихо кружась, пускается он в неведомый путь, навсегда оторвавшись от милого дерева. Даже птицы, которым Аллах по доброте своей даровал память, не всегда возвращаются в оставленные дома. Может, они пропадают в полете, а может, просто не хотят возвращаться туда, где было им так хорошо, как, верно, уж никогда не будет. Одни не возвращаются, потому что забывают, другие — потому что не могут забыть.

Нельзя вспоминать, иначе ощущение утраты будет длиться, как мучительный сон, от которого невозможно проснуться.

Но тихий шорох, но легкий треск сухого стебля под ногой, но тень, вдруг закрывшая вход. Неужели такое возможно?! Горячая кровь бросается к голове, и сердце колотится прямо о ребра. Неужели возможно?..

— Не пугайся, прекрасная госпожа! Я всего лишь Божий странник и не причиню тебе никакого вреда.

И впрямь бродячий калантар. Босой, с кокосовой чашкой и посохом, острым, что твое копье.

— Чего ты здесь ищешь, святой человек? Пройди лучше в дом, тебя там покормят и дадут на дорогу лепешек и денег.

— А ты что делаешь здесь, госпожа? Твое ли это дело сторожить пустой виноградник?

Разве не разгневается твой почтенный супруг, не найдя тебя на женской половине?

— Кто ты?

— Твой друг, Огэ-Гюль.

— Ты знаешь мое имя?

— Я знаю все... Я знаю даже, как некий вознесенный над простыми людьми звездочет спускался сюда с высокой башни наблюдать Зухру — волшебную звезду, чей путь среди неподвижных светил могут проследить только мудрейшие. Правда, моя прекрасная госпожа?

— Чего ты хочешь от меня? Кто ты? Говори или я кликну слуг.

— Не гневайся, прекрасная ханым. Я не обижу тебя. Скажи мне только, раз уж этот шалаш ближе к небу, чем даже недавно сгоревшая башня, скажи мне, что слышала светлая Зухра, когда проходила в последний раз через созвездие Льва.

— Твои речи темны. Чего ты хочешь от меня, Божий странник? Я ничего не понимаю в звездах. Пойди лучше в дом, что стоит внизу за этой горой, и скажи, что госпожа велела хорошо накормить тебя и дать на твои благочестивые дела сотню серебряных тенге.

— Скажи мне только, о чем шепнул Лев утренней звезде перед разлукой, и я...

— Я же ответила, что не понимаю твоих речей, Божий странник!

— Смотри, госпожа! Суровы законы звезд. Если Стрельцу станет известно, что путь изменчивой планеты лежал сквозь созвездие Льва... Послушай меня, госпожа! Солнце покинуло Льва, но судьба Стрельца в руках Зухры... Так вот, чтобы звезды Стрельца еще ярче воссияли, поднявшись в самый зенит, а сам Стрелец, не дай Аллах, не проведал о путях Зухры, я должен знать, о чем говорили в то последнее утро Лев и Зухра.

— Они прощались, прощались навсегда, Божий странник! — она кричит, будто опять, как тогда, разрывается сердце.

— Не поведал ли Лев прекрасной звезде о каких-нибудь особых своих намерениях?

— Нет, не поведал. Он отправляется в страну пророка.

— О том знает весь Самарканд, женщина. Не играй со мной, как змея, раздвоенным язычком. И торопись, потому что доблестный бек Камиль, твой супруг и повелитель, скачет сюда! Он уже близко.

— Но я сказала тебе все, что знала!

— Не лукавь, прекрасная госпожа. Если не жалеешь себя, пощади хотя бы мужа своего — сурового, храброго воина. От тебя одной зависит теперь, простит ли его молодой государь. Или ты хочешь, чтобы его объявили мятежником и казнили? Но мало того: подумай, как будут шептаться люди, когда узнают о позоре бека? Чем он заслужил такую участь? А что с тобой потом станет? Об этом ты подумала?

— Зачем ты мучаешь меня, Божий странник? Что я сделала тебе?

— Торопись, женщина! Камиль-бек близко. Слышишь цокот копыт на дороге? Сейчас он вылетит из-за поворота, где стоит чайхана. Ну?

— Правитель хочет разыскать тетрадь какого-то фарсидского поэта. В ней будто бы сокрыты все тайны мира... Прости меня, Аллах!

— Аллах простит... Вот, значит, как... Ну что ж, спасибо, госпожа. Ничего не бойся! Молчи сама, и никто ничего не узнает.

И опять неярко блестит серебряное небо в дырке входа. Исчез, как тень. Ни шороха, ни треска сучка под ногой. Но как гремят копыта! Тяжелый, видно, конь... Успеть бы добежать!

Пропыленный, весь расцарапанный, с повязкой на глазу, подъехал Камиль-бек к воротам своего загородного сада. Скакал во весь опор, чуть не загнал коня...

Зачем спешил сюда, когда надо ему бежать из Самарканда, спасти свою голову? Едва пробился сквозь окружение... Собрал кое-как разбитые войска... Потом узнал о Самарканде, о Шахрухии, а там и остальное... Так подальше же от Самарканда! Куда угодно — в Хорасан, Сайрам, Шираз, Курган, Хиву, — но только не сюда!

И все же он здесь...

Огэ-Гюль встречает. Целует стремя. Быстро что-то говорит. А он вместо приветствия осипшим голосом:

— Он был уже?

— Кто — он?

— Дервиш бродячий был здесь?!

Молчит Огэ-Гюль, зачем-то гладит стремя. И что сказать ей? Что сказать?

— Он был?

Лицо Камиля искажает гнев. И тихо выступает кровь из чуть присохшей царапины под левым глазом.

Как он страшен! И всего страшнее искривленный в крике, но издающий только хриплый шепот рот и черные запекшиеся губы.

— Был. Только что ушел.

— О чем он спрашивал?

Огэ-Гюль кажется, что она отвечает, что-то так горячо, горячо говорит, но на самом-то деле едва шевелит губами.

— Ну?

Вдруг бросается она к мужу, обхватывает пропотевший, насквозь пропыленный сапог и, прижавшись к нему лицом, беззвучно плачет, и спина ее часто-часто дрожит.

Нетерпеливое движение ноги, и стремя больно бьет в плечо. Она отшатывается, закрывает лицо руками, размазывая грязь по щекам и по лбу.

— О чем он спрашивал?

— Он спрашивал... он спрашивал... — Глотая слезы, она шепчет что-то и вдруг кричит: — Что хочет делать мирза, он спрашивал!

И воеет, воеет, как раненая волчица.

— И ты сказала?

— Что сказала? Что сказала?! Что я знаю? Сказала, что он хочет найти какую-то тетрадь!

Свесившись с седла, Камиль хватает ее за волосы и плетью по лицу. Раз! Раз! Еще раз!

— Дура! Дура! Дура! Предательница подлая! Как ты смела сказать, ты лучше б откусила поганый свой язык!

Три красных полосы по грязному, опухшему от слез лицу. Три жгучих полосы. Наверное, так же вдруг загорелось то пятно на щеке Биби-Ханым, когда Тимур узнал всю правду о том, как строилась его мечеть. Не осознав еще слепящей боли, перехватившей ей дыхание, поняла Огэ-Гюль, что Камиль-бек все знает.

— Дрянь! — Он резко рванул ее за волосы и оттолкнул.

«Но не за то, не за то он ударил меня... За предательство. За то, что я рассказала тому калантару...» — успела подумать она, падая на твердую глину, в нежную, как шагреня, пыль.

А Камиль-бек хлестнул заржавшего и взвившегося коня, ударил его острыми каблуками и понесся, понесся... Куда?

Знал ли он это сам? Или, быть может, хотел перехватить проклятого калантара, который только что был здесь, а часом раньше приходил к Камиль-беку послом нового правителя Самарканда. Он предлагал прощение и высокую должность, он посмел... Не будь он расулом, Камиль-бек велел бы привязать его к лошади.

Думал ли он, что страшная казнь эта ожидает его самого, когда, спустя всего только день, шагал в цепях по улицам Самарканда? Может быть, и думал. Он шел, опустив голову, в толпе осужденных, среди безвестных купцов и мастеровых, сказавших где-то неосторожное слово, недальновидных ученых, промедливших затаиться, дехкан и горстки придворных, которые, подобно ему, сохранили слепую и ненужную теперь верность свергнутому правителю.

Когда их провели по торговой улице, из лавки торговца халвой осторожно высунулись его неизменные гости рыбник и продавец мантов. Осторожный меняла не пришел, и игра сегодня не сладилась.

— Лихие дни настают для нашего Самарканда, — прошептал продавец мантов, но тут же испуганно оглянулся. Щека его задергалась.

— Ничего! — отрезал жестокий рыбак. — В государстве должен быть порядок. А все эти богохульники с бунтовщиками знали, на что шли. Пусть теперь не жалуются. Каждому — по его заслугам. Чего им не хватало, спрашивается?

— Так-то оно так, — вздохнул осторожный хозяин, — но уж больно налоги повысили... раньше так не было...

— Ничего! — опять сказал рыбак. — Осады, слава Аллаху, никакой не было, и рыба поступает в город беспрепятственно. А свое всегда можно вернуть. Зато порядок!

— А все-таки, за что их? — шепотом спросил торговец мантами.

— Кафиры и бунтовщики! — крикнул рыбак и еще пуще побагровел.

Но тут они увидели в задних рядах кроткого Махмуда-сундучника, которого хорошо знали. Он шел, спотыкаясь, еле волоча опутавшую его чугунную цепь.

— Махмуд тоже, по-вашему, бунтовщик и богохульник? — спросил торговец мантами.

— Может, есть за ним что-то? — неуверенно развел руками рыбак.

— Да-а, такого еще не бывало, — покачал головой хозяин.

— Наш Улугбек был не так уж плох, вот что я вам скажу, — прошептал торговец мантами. — Он добрый был.

— Тише! Всюду полно шпионов, — зашипели на него рыбак и хозяин, и все вместе шмыгнули они назад, в лавку.

Глава пятнадцатая

*А ты, хоть скройся рыбой в глубь морскую,
Иль темной тенью спрячься в тьму ночную,
Иль поднимись на небо, как звезда.
Знай, на земле ты проклят навсегда.
Нигде тебе от мести не укрыться,
Весть об убийстве по земле промчится.*

Фирдоуси

Вечером десятого дня рамадана с небольшим караваном отправился в Мекку Улугбек Гурагон, бывший правитель Мавераннахра. Только что прошел дождь. Вода в реках вздулась и пожелтела от глины. Сырой и холодный ветер срывал с деревьев листья, гнал тучи пыли и мусора. Раздувал грозно чадающие факелы городской стражи.

Люди укрылись от непогоды в домах. Крепко заперев двери своих двориков, калили под навесом орехи на угольях или пекли лепешки. От яростно гудящего в очагах огня и на душе делалось теплее, а ветер, бегущий по улицам, и мятущиеся в слепом небе мокрые ветки только подчеркивали домашний уют, довольство и безопасность. Недаром и назывался великий город Самарканд «городом Безопасности».

В такой унылый и темный вечер, в такую проклятую погоду, выехал из Самарканда Улугбек, одинокий, забытый. Только несколько нукеров провожали его, а глухонемые слуги, приставленные еще во дворце, а теперь увозящие его в изгнание, не слышали слов и не могли, если бы и слышали, ему ответить.

Только спутник его — Ходжа Мухаммед-Хосрау — мог один во всем караване слушать и говорить. Но молчал свергнутый государь, видно, не о чем было ему говорить с этим человеком, которого не он выбирал себе в попутчики. Молчал и Ходжа Мухаммед-Хосрау, не осмеливаясь заговорить первым. Никого уже не мог наказать или возвысить мирза Улугбек, но государь — всегда государь, даже лишенный власти и удаленный из своей страны. О чем думал Улугбек, когда ехал по пустым улицам, отворачиваясь от мокрой пыли и сора, летевших ему в лицо? О чем думал он, когда молчаливый его караван выехал за городские ворота?

Кто может знать это, если никому не поведал Улугбектех, наверное, не очень веселых мыслей? Да и кому ему было поведать их?

Сохранился лишь рассказ Мирохонда, записанный со слов того самого Ходжа Мухаммеда-Хосрау, о том, как встретил Улугбек свою смерть. О последних же мыслях великого звездочета не знает никто.

«В сырой и холодный день Улугбек выехал из Самарканда вместе с указанным Ходжа, который был дан ему в спутники, — пишет Мирохонд. — Только несколько нукеров сопровождали недавно могущественного правителя. Не успели они утомить в первом перегоне своих лошадей, как их догнал какой-то джагатай и передал предписание — захватить в соседнее селение, где им надлежало получить нужное снаряжение, подходящее Улугбеку, чтобы достойно отправиться в путь».

Вот и все. Вот и кончено все для тебя. Жизнь проносится перед глазами. Оживают тени мертвых, когда-то любимых тобою, оживают тени врагов, приходят друзья, и нельзя уже отличить, кто из них умер, а кто просто уехал в другие края. И все они здесь, все беззвучно с тобой говорят, и каждому мысленно ты успеваешь ответить. Припоминается то, что казалось навеки забытым, и волнующие картины жизни проплывают перед глазами такими, какими они были на самом деле и какими могли только быть, поступи кто-то иначе. Так ясно и красочно видится несбывшееся, словно действительно было оно, и опять же нельзя отличить то, что случилось, от того, что случиться могло.

И так увлекателен этот поток, так правдоподобен, что волнуется сердце бедой, которой давно нет, и радостью, которая двадцать лет как прошла. Так увлекателен этот поток, что не видно дороги и тусклых огней в недалеком селении, не слышно бормотания вздвнувшегося арыка. Едешь и едешь, не зная куда, невидимый сам для себя, свои рассекаешь видения, а они все плывут и плывут сквозь тебя, это годы плывут сквозь минуты.

Мы умираем раз и навсегда.
Страшна не смерть, а смертная страда.
Коль этот глины ком и капля крови
Исчезнут вдруг — не велика беда.

Бедный Хайям... Когда ты писал так, не дано тебе было почувствовать, какова она, смертная эта страда. Когда же пришла она к тебе, ты не мог уж писать. И никто не знает, как подступает смерть к человеку, пока не приходит его черед умирать, а там уж некогда и некому рассказывать.

И затосковало, заколотилось сердце от близости той непонятной минуты, когда кончается и исчезает все.

Въехали во двор какого-то дома. Хозяин вышел с лампой встречать гостей. Помог мирзе слезть с лошади. Улугбек огляделся. Словно пробудившись от долгого сна, пристально смотрел на коновязь и кошму с подушками, покосившуюся арбу и корыто с клевером. До тех пор смотрел, пока сущность и назначение всех этих забытых вещей не начинали проясняться в его голове. Он немного успокоился и собрался даже пойти осмотреть худжру, в которую хозяин дома хотел поместить высокого гостя.

Было холодно. Улугбек попросил затопить очаг и сварить мясо. Выстреливший из пламени уголек упал на его плащ и прожег черную дырку. Улугбек грустно взглянул на огонь и, обращаясь к его живой душе, произнес на тюркском наречии:

— Сен хем бельдин ³⁷.

Все изменяло ему в мире. Даже огонь.

³⁷ Ты тоже узнал

Послышался конский топот. Хозяин опять выбежал во двор с фонарем, видно, ждал еще гостей и спешил указать им свой дом. Значит, так было нужно, потому что, если бы те, кто скакали сейчас сюда, побывали здесь раньше, то нашли бы дорогу и теперь. Но видно, никогда они здесь не бывали...

Дом стоял у самой дороги, и через двор его протекал арык. У арыка и повесил хозяин фонарь, который тихо закачался под ветром. Красным прерывистым копьем ушел в черную воду неровный отсвет. А с дороги, наверное, показалось, что над невидимой глинобитной стеной кто-то стал раздувать уголек.

Топот усилился. Вот уж у самых ворот застучали подковы. А вот Улугбек и увидел в них первого всадника. И когда разглядел его, то сразу все понял. В красноватом и хмуром свете различил он широкие скулы, тени ввалившихся щек, косые прорезы глаз, низкий лоб, надбровные мощные дуги и губы, которых никогда не удлиняла улыбка.

Вот кого, значит, избрали они... Аббас! Суфийский фанатик и сын фанатика. Его отцу отрубили голову на самаркандской площади.

Редко казнил Улугбек. Чаще наказывал плетью и палками. И в тот раз, хоть и бесспорны были доказательства ужасного изуверства и гнусной измены, он пожалел заговорщиков. Только их главаря разрешил обезглавить мирза, остальных же помиловал, в том числе, старшего сына казненного — молодого мюрида Аббаса.

Долго искал Улугбек хоть искру мысли в ненавидящих этих глазах, хоть блеск простоты человечности в этом тупом озлоблении. Он отпустил Аббаса, про себя пожалев его за то, что в непроглядной темноте ощупью бродит душа этого человека, что ей незнакомо сомнение и неведома жалость.

И опять, как тогда, подивился мирза, до чего беспросветной, убогой и низменной была эта ненависть. И вот теперь снова этот бессмысленный взгляд, за которым ничто, только вечная ночь, встретил Улугбек.

Медленно попятился назад Улугбек, под тень навеса. Его люди куда-то попрятались. Он был один против Аббаса и четырех его дюжих мюридов. Стоял и ждал своего часа, не вытащив даже кинжала из ножен. Аббас подступал, играя свернутой в кольца веревкой.

Аббасовы люди спешили и, не привязав лошадей, сразу кинулись на Улугбека. Молча, не сопротивляясь, дал он себя связать. Он все знал, ни на что не надеялся и не думал бежать из этой последней ловушки, от этой последней измены.

Но вдруг, не помня себя, бросился на убийцу и ударил его в грудь слабым старческим кулаком. Один из мюридов сдержал поверженного государя и сорвал с его плеч дорогую алтайскую шубу.

Его выволокли из-под навеса под тусклый кровавый свет фонаря. Потащили к арыку. Поближе к тому фонарю.

— Оставьте его, я сам, — сказал Аббас и стал расстегивать чекмень. Он толкнул Улугбека, и старый правитель упал на песок, как подрубленный кедр — руки его уже были крепко привязаны к телу. Аббас поднял его, словно куклу, и сам усадил над водой, прямо под фонарем.

Увидел Улугбек, как большие короткопалые руки расстегнули чекмень и сошлись у резной рукоятки. Он увидел, как из кожаных, изукрашенных медными бляшками ножен, выполз клинок. Красный свет заиграл в его зеркале, засверкала на нем золотая арабская вязь, а он все вытекал, все тянулся из ножен прямо к небу. Но качнулся и меч, и чекмень, все ушло в сторону. Сопение Аббаса уже слышалось сзади.

Поднял глаза Улугбек. Может, хотел в последний раз попрощаться со звездами, может, увидеть хотел поднятый меч... Но красная тьма фонаря ослепила ночное небо, да и было оно все в мокрых, отороченных рваными волокнами и несущихся куда-то облаках.

«Вот оно... пришло... Сейчас все исчезнет. И не страшно совсем...»

— Гх-ха! — грозно выдохнул Аббас, и обезглавленное тело свалилось в арык.

Как будто бы не было непосредственных свидетелей убийства, но весть о нем быстро облетела Мавераннахр и сопредельные с ним страны и города. Из уст в уста передавалась она. Все узнали и имя убийцы, и страшные подробности самого убийства. Словно в ту ночь у арыка, под фонарем, кроме палача и жертвы, стоял еще кто-то невидимый третий.

Узнали и то, что происходило на тайном священном совете. Нет, не о том, чтобы отправить Улугбека в святое паломничество, шла там речь. Даже не о судьбе Улугбека, ибо была она давно решена. По всем законам святое собрание составило фетву — писаное мнение религиозных авторитетов, а в данном случае, обоснование убийства.

Вся жизнь и деятельность Улугбека были расценены как страшный ход — преступление, наказуемое Кораном. И сколько ни справлялись со святой книгой, на все она давала только один ответ, только одну укубу³⁸ готовил Коран кафиру-мирзе — смерть.

И высший мусульманский духовник, дающий фетву муфтий, ишан братства накшбенди Ходжа Ахрар осудил Улугбека на смерть. И все мударрисы, улемы и муллы, присутствовавшие на высоком совете, согласились с ним и приложили к фетве свои печати.

Народ не сохранил в своей памяти нечестивые имена этих убийц. Но от отца к сыну передал он имя кадия³⁹ Щемс-ад-дина Мухаммеда Мискина, отказавшегося скрепить незаконный приговор. Хоть и часто поругивал он отступника-государя за святотатство, но несправедливый приговор скрепить не пожелал.

Абд-ал-Лятиф не присутствовал на этом совете. Ему не полагалось там быть, ибо не носил он священного сана. Да и государем, по закону, вовсе не он считался. Как и во времена Тимура, который по форме был лишь тенью какого-то нищего чингизида в ханском достоинстве, нашли очередного высокородного побирушку, коего и нарекли ханом. По наущению Лятифа, перед новым владыкой преклонил колени мрачный полуидиот, чей отец был убит по приказу Улугбека, сверженного амира Мавераннахра. Сын просил теперь у хана права на отмщение, согласно шарияту.

— Исполнить все, что требует шарият, — произнес по подсказке хан — жалкая кукла на нитках.

И это было делом рук Лятифа. Это с его ведома прошел во дворец смертельный враг Улугбека Аббас, которому было запрещено даже появляться в Самарканде. А все же он прошел во дворец, потому что лицеизреть его хотели и Лятиф, и священный совет, хоть не был он ни муллой, ни богословом.

Он даже читать не умел и плохо знал Коран, и едва ли понимал, о чем идет речь, когда благородный кадий привел строки из святой книги: «Всякому, имеющему душу, надобно умереть не иначе, как по воле Бога, сообразно книге, в которой определено время жизни».

Но он хорошо понял, когда Ходжа Ахрар ответил на это, что, во-первых, Улугбек лишен души, а во-вторых, все, что постановит собрание, исходит от Бога.

А когда ишан привел в заключение слова из той же священной книги Корана: «Когда мы отменяем какое-либо знамение или повелеваем забыть его, тогда даем мы другое, лучшее того или равное ему», Аббас понял, что его враг осужден и отдан в его руки. Оставалось только обдумать, как это сделать, но это уже частное дело, которое ишан может решить вдвоем с ним, Аббасом. Священному совету незачем вникать в такие низменные дела. У благочестивых членов его есть иные, возвышенные заботы. Пусть они обоснуют всеобщее убеждение, что Бог велит истребить до последнего колена всех, кто не исповедует ислам. И пусть сделают они это в том самом медресе, которое построил кафир Улугбек и где предавался своим нечестивым занятиям.

Народная легенда повествует, что убийцу великого звездочета — фанатика Аббаса — настигла меткая стрела неизвестного мстителя. Сердце народа инстинктивно стремится к

³⁸ Укуба — наказание по шарияту

³⁹ Кадий — судья

справедливости, оно хочет покарать злодеев, воздать им смертью за смерть. История ничего не говорит о судьбе Аббаса. Так что с одинаковым основанием можно верить или не верить легенде. Что же касается другого мрачного изувера и презренного отцеубийцы Абдал-Лятифа, который не замедлил зарезать и брата своего Азиза, то здесь история явила справедливость. Он пал жертвой заговора в ночь на святую для мусульман пятницу, когда отправлялся в город на богослужение из загородного сада Чинеры. Перед этим мирзе, если верить историку Масуду Кухистани, приснилось, что ему поднесли на блюде собственную усекновенную голову. Испугавшись будто бы сна, стал Лятиф гадать по стихам Низами, которые так любил его злодейски погубленный отец. Книга раскрылась на стихе: «Отцеубийце не может достаться царство, а если достанется, то не больше, чем на шесть месяцев». Не прошло и года после преступления на берегу арыка, как отрубленная голова Абд-ал-Лятифа красовалась на входной арке медресе Улугбека, на площади Регистан. Меж рвом у городской стены и садом Лятифа в лоб поразила стрела, пущенная Баба-Хусейн-бахадуром. С криком «Аллах! Стрела попала!» упал он с коня и был покинут перепуганной свитой. Заговорщики — бывшие нукеры Улугбека и Абд-ал-Азиза — поспешили броситься на еще живого принца и отрезали ему голову.

Но главный вдохновитель преступления — Ходжа Ахрар — избежал возмездия. Он жил спокойно и безбедно и умер своей смертью. Долгие годы оставался он фактическим правителем Самарканда, насаждая повсюду нетерпимость и фанатизм.

Нравится ли нам это или нет, но история — не легенда, ее приходится принимать такой, какая она есть.

Но как бы там ни было, а верный Али-Кушчи спас «Зидж», и благодаря ему эта звездная книга стала достоянием человечества. В масштабах истории разум всегда побеждает, истина рано или поздно торжествует над мракобесием. Но может ли это служить утешением, когда речь заходит о судьбах людей? Улугбек погиб, а Ходжа Ахрар прожил долгую благополучную жизнь. Справедливо ли это? Конечно, несправедливо. Но если мы и знаем презренные имена Ходжи Ахрара, Абд-ал-Лятифа или Аббаса, то лишь потому, что они связаны с именем Улугбека Гурагона.

Это о нем писал потом Алишер Навои:

«Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут списывать законы и правила с его законов».

Бессмертие и забвение — и то, и другое обретается уже за гробом, и для тех, к кому они приходят, нет в том ни кары, ни воздаяния. Но для потомков в них — высший суд и высшая справедливость.

Улугбека похоронили в мавзолее «Гур Эмир», где рядом со своими наследниками спал в огромном саркофаге из зеленого монгольского нефрита завоеватель мира Тимур. А надпись на надгробной плите Улугбека гласит:

«Эта светоносная могила, это славное место мученичества, этот благоуханный сад, эта недосыгаемая гробница есть место успокоения государя, нисхождением которого услаждены сады рая, осчастливлен цветник райских обитателей, — он же — прощенный султан, образованный халиф, помогающий миру и вере, Улугбек — султан, — да озарит Аллах его могилу! — счастливое рождение которого совершилось в месяцы 796 года в Султанийе, в месяц же зул-хидже 810 года в „городе Безопасности“, в Самарканде, он стал полновластным в наместническом достоинстве, подчиняясь же приказаниям Аллаха, — „каждый плывет до назначенного ему срока“, когда время его жизни достигло до положенного предела, а предназначенный ему судьбою срок дошел до грани, указанной неугасимым роком, — его сын совершил в отношении его беззаконие и поразил отца острием меча, вследствие чего тот принял мученическую смерть, направившись к дому милосердия своего всепрощающего

Господа, 10 числа месяца рамадана 853 года пророческой хиджры»⁴⁰.

По словам же Давлетшаха, Улугбека убили на два дня раньше, восьмого числа, что соответствует 25 октября 1449 года.

Но это уже несущественная подробность...

⁴⁰ Надпись дешифрована проф. А. А. Семеновым